**Толстой Л. Н. Хаджи- Мурат**

**Из 24 главы**

В это время и пешие и Каменев подошли к дому Ивана Матвеевича.

- Чихирев! - крикнул Каменев казаку. - Подъезжай-ка.

Донской казак выдвинулся из остальных и подъехал. Казак был в

обыкновенной донской форме, в сапогах, шинели и с переметными сумами за

седлом.

- Ну, достань-ка штуку, - сказал Каменев, слезая с лошади.

Казак тоже слез с лошади и достал из переметной сумы мешок с чем-то.

Каменев взял из рук казака мешок и запустил в него руку.

- Так показать вам новость? Вы не испугаетесь? - обратился он к Марье

Дмитриевне.

- Чего же бояться, - сказала Марья Дмитриевна.

- Вот она, - сказал Каменев, доставая человеческую голову и выставляя

ее на свет месяца. - Узнаете?

Это была голова, бритая, с большими выступами черепа над глазами и

черной стриженой бородкой и подстриженными усами, с одним открытым, другим

полузакрытым глазом, с разрубленным и недорубленным бритым черепом, с

окровавленным запекшейся черной кровью носом. Шея была замотана

окровавленным полотенцем. Несмотря на все раны головы, в складе посиневших

губ было детское доброе выражение.

Марья Дмитриевна посмотрела и, ничего не сказав, повернулась и быстрыми

шагами ушла в дом.

Бутлер не мог отвести глаз от страшной головы. Это была голова того

самого Хаджи-Мурата, с которым он так недавно проводил вечера в таких

дружеских беседах.

- Как же это? Кто его убил? Где? - спросил он.

- Удрать хотел, поймали, - сказал Каменев и отдал голову казаку, а сам

вошел в дом вместе с Бутлером.

- И молодцом умер, - сказал Каменев.

- Да как же это все случилось?

- А вот погодите, Иван Матвеевич придет, я все подробно расскажу. Ведь

я затем послан. Развожу по всем укреплениям, аулам, показываю.

Было послано за Иваном Матвеевичем, и он, пьяный, с двумя также сильно

выпившими офицерами, вернулся в дом и принялся обнимать Каменева.

- А я к вам, - сказал Каменев. - Хаджи-Мурата голову привез.

- Врешь! Убили?

- Да, бежать хотел.

- Я говорил, что надует. Так где же она? Голова-то? Покажи-ка.

Кликнули казака, и он внес мешок с головой. Голову вынули, и Иван

Матвеевич пьяными глазами долго смотрел на нее.

- А все-таки молодчина был, - сказал он. - Дай я его поцелую.

- Да, правда, лихая была голова, - сказал один из офицеров.

Когда все осмотрели голову, ее отдали опять казаку. Казак положил

голову в мешок, стараясь опустить на пол так, чтобы она как можно слабее

стукнула.

- А что ж ты, Каменев, приговариваешь что, когда показываешь? - говорил

один офицер.

- Нет, дай я его поцелую. Он мне шашку подарил, - кричал Иван

Матвеевич.

Бутлер вышел на крыльцо. Марья Дмитриевна сидела на второй ступеньке.

Она оглянулась на Бутлера и тотчас же сердито отвернулась.

- Что вы, Марья Дмитриевна? - спросил Бутлер.

- Все вы живорезы. Терпеть не могу. Живорезы, право, - сказала она,

вставая.

- То же со всеми может быть, - сказал Бутлер, не зная, что говорить. -

На то война.

- Война! - вскрикнула Марья Дмитриевна. - Какая война? Живорезы, вот и

все. Мертвое тело земле предать надо, а они зубоскалят. Живорезы, право, -

повторила она и сошла с крыльца и ушла в дом через задний ход.

Бутлер вернулся в гостиную и попросил Каменева рассказать подробно, как

было все дело. И Каменев рассказал. Дело было вот как.

**XXV**

Хаджи-Мурату было разрешено кататься верхом вблизи города и непременно

с конвоем казаков. Казаков всех в Нухе была полусотня, из которой разобраны

были по начальству человек десять, остальных же, если их посылать, как было

приказано, по десять человек, приходилось бы наряжать через день. И потому в

первый день послали десять казаков, а потом решили посылать по пять человек,

прося Хаджи-Мурата не брать с собой всех своих нукеров, но 25 апреля

Хаджи-Мурат выехал на прогулку со всеми пятью. В то время как Хаджи-Мурат

садился на лошадь, воинский начальник заметил, что все пять нукеров

собирались ехать с Хаджи-Муратом, и сказал ему, что ему не позволяется брать

с собой всех, но Хаджи-Мурат как будто не слыхал, тронул лошадь, и воинский

начальник не стал настаивать. С казаками был урядник, георгиевский кавалер,

в скобку остриженный, молодой, кровь с молоком, здоровый русый малый,

Назаров. Он был старший в бедной старообрядческой семье, выросший без отца и

кормивший старую мать с тремя дочерьми и двумя братьями.

- Смотри, Назаров, не пускай далеко! - крикнул воинский начальник.

- Слушаю, ваше благородие, - ответил Назаров и, поднимаясь на

стременах, тронул рысью, придерживая за плечом винтовку, своего доброго,

крупного, рыжего, горбоносого мерина. Четыре казака ехали за ним:

Ферапонтов, длинный, худой, первый вор и добытчик, - тот самый, который

продал порох Гамзале; Игнатов, Отслуживающий срок, немолодой человек,

здоровый мужик, хваставшийся своей силой; Мишкин, слабосильный малолеток,

над которым все смеялись, и Петраков, молодой, белокурый, единственный сын у

матери, всегда ласковый и веселый.

С утра был туман, но к завтраку погода разгулялась, и солнце блестело и

на только что распустившейся листве, и на молодой девственной траве, и на

всходах хлебов, и на ряби быстрой реки, видневшейся налево от дороги.

Хаджи-Мурат ехал шагом. Казаки и его нукеры, не отставая, следовали за

ним. Выехали шагом по дороге за крепостью. Встречались женщины с корзинами

на головах, солдаты на повозках и скрипящие арбы на буйволах. Отъехав версты

две, Хаджи-Мурат тронул своего белого кабардинца; он пошел проездом, так,

что его нукеры шли большой рысью. Так же ехали и казаки.

- Эх, лошадь добра под ним, - сказал Ферапонтов. - Кабы в ту пору, как

он не мирной был, ссадил бы его.

- Да, брат, за эту лошадку триста рублей давали в Тифлисе.

- А я на своем перегоню, - сказал Назаров.

- Как же, перегонишь, - сказал Ферапонтов. Хаджи-Мурат все прибавлял

хода.

- Эй, кунак, нельзя так. Потише! - прокричал Назаров, догоняя

Хаджи-Мурата.

Хаджи-Мурат оглянулся и, ничего не сказав, продолжал ехать тем же

проездом, не уменьшая хода.

- Смотри, задумали что, черти, - сказал Игнатов. - Вишь, лупят.

Так прошли с версту по направлению к горам.

- Я говорю, нельзя! - закричал опять Назаров. Хаджи-Мурат не отвечал и

не оглядывался, только еще прибавлял хода и с проезда перешел на скок.

- Врешь, не уйдешь! - крикнул Назаров, задетый за живое.

Он ударил плетью своего крупного рыжего мерина и, привстав на стременах

и нагнувшись вперед, пустил его во весь мах за Хаджи-Муратом.

Небо было так ясно, воздух так свеж, силы жизни так радостно играли в

душе Назарова, когда он, слившись в одно существо с доброю, сильною лошадью,

летел по ровной дороге за Хаджи-Муратом, что ему и -в голову не приходила

возможность чего-нибудь недоброго, печального или страшного. Он радовался

тому, что с каждым скоком набирал на Хаджи-Мурата и приближался к нему.

Хаджи-Мурат сообразил по топоту крупной лошади казака, приближающегося к

нему, что он накоротко должен настигнуть его, и, взявшись правой рукой за

пистолет, левой стал слегка сдерживать своего разгорячившегося и слышавшего

за собой лошадиный топот кабардинца.

- Нельзя, говорю! - крикнул Назаров, почти равняясь с Хаджи-Муратом и

протягивая руку, чтобы схватить за повод его лошадь. Но не успел он

схватиться за повод, как раздался выстрел.

- Что ж это ты делаешь? - закричал Назаров, хватаясь за грудь. - Бей

их, ребята, - проговорил он и, шатаясь, повалился на луку седла.

Но горцы прежде казаков взялись за оружие и били казаков из пистолетов

и рубили их шашками. Назаров висел на шее носившей его вокруг товарищей

испуганной лошади. Под Игнатовым упала лошадь, придавив ему ногу. Двое

горцев, выхватив шашки, не слезая, полосовали его по голове и рукам.

Петраков бросился было к товарищу, но тут же два выстрела, один в спину,

другой в бок, сожгли его, и он, как мешок, кувырнулся с лошади.

Мишкин повернул лошадь назад и поскакал к крепости. Ханефи с

Хан-Магомой бросились за Мишкиным, но он был уже далеко впереди, и горцы не

могли догнать его.

Увидав, что они не могут догнать казака, Ханефи с Хан-Магомой вернулись

к своим. Гамзало, добив кинжалом Игнатова, прирезал и Назарова, свалив его с

лошади. Хан-Магома снимал с убитых сумки с патронами. Ханефи хотел взять

лошадь Назарова, но Хаджи-Мурат крикнул ему, что не надо, и пустился вперед

по дороге. Мюриды его поскакали за ним, отгоняя от себя бежавшую за ними

лошадь Петракова. Они были уже версты за три от Нухи среди рисовых полей,

когда раздался выстрел с башни, означавший тревогу.

Петраков лежал навзничь с взрезанным животом, и его молодое лицо было

обращено к небу, и он, как рыба всхлипывая, умирал.

- Батюшки, отцы мои родные, что наделали! \_ вскрикнул, схватившись за

голову, начальник крепости, когда узнал о побеге Хаджи-Мурата. - Голову

сняли! Упустили, разбойники! - кричал он, слушая донесение Мишкина.

Тревога дана была везде, и не только все бывшие в наличности казаки

были посланы за бежавшими, но собраны были и все, каких можно было собрать,

милиционеры из мирных аулов. Объявлено было тысячу рублей награды тому, кто

привезет живого или мертвого Хаджи-Мурата. И через два часа после того, как

Хаджи-Мурат с товарищами ускакали от казаков, больше двухсот человек конных

скакали за приставом отыскивать и ловить бежавших.

Проехав несколько верст по большой дороге, Хаджи-Мурат сдержал своего

тяжело дышавшего и посеревшего от поту белого коня и остановился. Вправо от

дороги виднелись сакли и минарет аула Беларджика, налево были поля, и в

конце их виднелась река. Несмотря на то, что путь в горы лежал направо,

Хаджи-Мурат повернул в противоположную сторону, влево, рассчитывая на то,

что погоня бросится за ним именно направо. Он же, и без дороги переправясь

через Алазань, выедет на большую дорогу, где его никто не будет ожидать, и

проедет по ней до леса и тогда уже, вновь переехав через реку, лесом

проберется в горы. Решив это, он повернул влево. Но доехать до реки

оказалось невозможным. Рисовое поле, через которое надо было ехать, как это

всегда делается весной, было только что залито водой и превратилось в

трясину, в которой выше бабки вязли лошади. Хаджи-Мурат и его нукеры брали

направо, налево, думая, что найдут более сухое место, но то поле, на которое

они попали, было все равномерно залито и теперь пропитано водою. Лошади с

звуком хлопания пробки вытаскивали утопающие ноги в вязкой грязи и, пройдя

несколько шагов, тяжело дыша, останавливались.

Так они бились так долго, что начало смеркаться, а они все еще не

доехали до реки. Влево был островок с распустившимися листиками кустов" и

Хаджи-Мурат решил въехать в эти кусты и там, дав отдых измученным лошадям,

пробыть до ночи.

Въехав в кусты, Хаджи-Мурат и его нукеры слезли с лошадей и, стреножив

их, пустили кормиться, сами же поели взятого с собой хлеба и сыра. Молодой

месяц, светивший сначала, зашел за горы, и ночь была темная. Соловьев в Нухе

было особенно много. Два было и в этих кустах. Пока Хаджи-Мурат с своими

людьми шумел, въезжая в кусты, соловьи замолкли. Но когда затихли люди, они

опять защелкали, перекликаясь. Хаджи-Мурат, прислушиваясь к звукам ночи,

невольно слушал их.

И их свист напомнил ему ту песню о Гамзате, которую он слушал нынче

ночью, когда выходил за водой. Он всякую минуту теперь мог быть в том же

положении, в котором был Гамзат. Ему подумалось, что это так и будет, и ему

вдруг стало серьезно на душе. Он разостлал бурку и совершил намаз. И едва

только окончил его, как послышались приближающиеся к кустам звуки. Это были

звуки большого количества лошадиных ног, шлепавших по трясине. Быстроглазый

Хан-Магома, выбежав на один край кустов, высмотрел в темноте черные тени

конных и пеших, приближавшихся к кустам. Ханефи увидал такую же толпу с

другой стороны. Это был Карганов, уездный воинский начальник, с своими

милиционерами.

"Что ж, будем биться, как Гамзат", - подумал Хаджи-Мурат.

После того как дана была тревога, Карганов с сотней милиционеров и

казаков бросился в догоню Хаджи-Мурата, но нигде не нашел ни его, ни следов

его. Карганов уже возвращался безнадежно домой, когда перед вечером ему

встретился старик татарин. Карганов спросил у старика, не видал ли он

шестерых конных? Старик отвечал, что видел. Он видел, как шесть конных

кружились по рисовому полю и въехали в кусты, в которых он собирал дрова.

Карганов, захватив с собой старика, вернулся назад и, по виду стреноженных

лошадей уверившись, что Хаджи-Мурат был тут, ночью уже окружил кусты и стал

дожидаться утра, чтобы взять Хаджи-Мурата живого или мертвого.

Поняв, что он окружен, Хаджи-Мурат высмотрел в середине кустов старую

канаву и решил засесть в ней и отбиваться, пока будут заряды и силы. Он

сказал это своим товарищам и велел им делать завал на канаве. И нукеры

тотчас же взялись рубить ветки, кинжалами копать землю, делать насыпь.

Хаджи-Мурат работал вместе с ними.

Как только стало светать, как к кустам близко подъехал сотенный

командир милиции и закричал:

- Эй! Хаджи-Мурат! Сдавайся! Нас много, а вас мало.

В ответ на это из канавы показался дымок, щелкнула винтовка, и пуля

попала в лошадь милиционера, которая шарахнулась под ним и стала падать.

Вслед за этим затрещали винтовки милиционеров, стоявших на опушке кустов, и

пули их, свистя и жужжа, обивали листья и сучья и попадали в завал, но не

попадали в людей, сидевших за завалом. Только одна отбившаяся лошадь Гамзалы

была подбита ими. Лошадь была ранена в голову. Она не упала, но, разорвав

треногу, треща по кустам, бросилась к другим лошадям и, прижавшись к ним,

поливала кровью молодую траву. Хаджи-Мурат и его люди стреляли только тогда,

когда кто-либо из милиционеров выдавался вперед, и редко миновали цели. Три

человека из милиционеров были ранены, и милиционеры не только не решались

броситься на Хаджи-Мурата и его людей, но все более и более отдалялись от

них и стреляли только издалека, наобум.

Так продолжалось более часа. Солнце взошло в полдерева, и Хаджи-Мурат

уже думал сесть на лошадей и попытаться пробиться к реке, когда послышались

крики вновь прибывшей большой партии. Это был Гаджи-Ага мехтулинский с

своими людьми. Их было человек двести. Гаджи-Ага был когда-то кунак

Хаджи-Мурата и жил с ним в горах, но потом перешел к русским. С ним же был

Ахмет-Хан, сын врага Хаджи-Мурата. Гаджи-Ага, так же как Карганов, начал с

того, что закричал Хаджи-Мурату, чтобы он сдавался, но, так же как и в

первый раз, Хаджи-Мурат ответил выстрелом.

- В шашки, ребята! - крикнул Гаджи-Ага, выхватив свою, и послышались

сотни голосов людей, с визгом бросившихся в кусты.

Милиционеры вбежали в кусты, но из-за завала затрещало один за другим

несколько выстрелов. Человека три упало, и нападавшие остановились, и на

опушке кустов тоже стали стрелять. Они стреляли и вместе с тем понемногу

приближались к завалу, перебегая от куста к кусту. Некоторые успевали

перебегать, некоторые же попадали под пули Хаджи-Мурата и его людей.

Хаджи-Мурат бил без промаха, точно так же редко выпускал выстрел даром

Гамзало и всякий раз радостно визжал, когда видел, что пули его попадали.

Курбан сидел с краю канавы и пел "Ля илляха иль алла" и не торопясь стрелял,

но попадал редко. Элдар же дрожал всем телом от нетерпения броситься с

кинжалом на врагов и стрелял часто и как попало, беспрестанно оглядываясь на

Хаджи-Мурата и высовываясь из-за завала. Волосатый Ханефи, с засученными

рукавами, и тут исполнял должность слуги. Он заряжал ружья, которые

передавали ему Хаджи-Мурат и Курбан, старательно загоняя железным шомполом

обернутые в намасленные хлюсты пульки и подсыпая из натруски сухого пороха

на полки. Хан-Магома же не сидел, как другие, в канаве, а перебегал из

канавы к лошадям, загоняя их в более безопасное место, и не переставая

визжал и стрелял с руки без подсошек. Его первого ранили. Пуля попала ему в

шею, и он сел назад, плюя кровью и ругаясь. Потом ранен был Хаджи-Мурат.

Пуля пробила ему плечо. Хаджи-Мурат вырвал из бешмета вату, заткнул себе

рану и продолжал стрелять.

- Бросимся в шашки, - в третий раз говорил Элдар.

Он высунулся из-за завала, готовый броситься на врагов, но в ту же

минуту пуля ударила в него, и он зашатался и упал навзничь, на ногу

Хаджи-Мурату. Хаджи-Мурат взглянул на него. Бараньи прекрасные глаза

пристально и серьезно смотрели на Хаджи-Мурата. Рот с выдающеюся, как у

детей, верхней губой дергался, не раскрываясь. Хаджи-Мурат выпростал из-под

него ногу и продолжал целиться. Ханефи нагнулся над убитым Элдаром и стал

быстро выбирать нерасстрелянные заряды из его черкески. Курбан между тем все

пел, медленно заряжая и целясь.

Враги, перебегая от куста к кусту с гиканьем и визгом, придвигались все

ближе и ближе. Еще пуля попала Хаджи-Мурату в левый бок. Он лег в канаву и

опять, вырвав из бешмета кусок ваты, заткнул рану. Рана в бок была

смертельна, и он чувствовал, что умирает. Воспоминания и образы с

необыкновенной быстротой сменялись в его воображении одно другим. То он

видел перед собой силача Абунунцал-Хана, как он, придерживая рукою

отрубленную, висящую щеку, с кинжалом в руке бросился на врага; то видел

слабого, бескровного старика Воронцова с его хитрым белым лицом и слышал его

мягкий голос; то видел сына Юсу-фа, то жену Софиат, то бледное, с рыжей

бородой и прищуренными глазами, лицо врага своего Шамиля.

И все эти воспоминания пробегали в его воображении, не вызывая в нем

никакого чувства: ни жалости, ни злобы, ни какого-либо желания. Все это

казалось так ничтожно в сравнении с тем, что начиналось и уже началось для

него. А между тем его сильное тело продолжало делать начатое. Он собрал

последние силы, поднялся из-за завала и выстрелил из пистолета в

подбегавшего человека и попал в него. Человек упал. Потом он совсем вылез из

ямы и с кинжалом пошел прямо, тяжело хромая, навстречу врагам." Раздалось

несколько выстрелов, он зашатался и упал. Несколько человек милиционеров с

торжествующим визгом бросились к упавшему телу. Но то, что казалось им

мертвым телом, вдруг зашевелилось. Сначала поднялась окровавленная, без

папахи, бритая голова, потом поднялось туловище, и, ухватившись за дерево,

он поднялся весь. Он так казался страшен, что подбегавшие остановились. Но

вдруг он дрогнул, отшатнулся от дерева и со всего роста, как подкошенный

репей, упал на лицо и уже не двигался.

Он не двигался, но еще чувствовал. Когда первый подбежавший к нему

Гаджи-Ага ударил его большим кинжалом по голове, ему казалось, что его

молотком бьют по голове, и он не мог понять, кто это делает и зачем. Это

было последнее его сознание связи с своим телом. Больше он уже ничего не

чувствовал, и враги топтали и резали то, что не имело уже ничего общего с

ним. Гаджи-Ага, наступив ногой на спину тела, с двух ударов отсек голову и

осторожно, чтобы не запачкать в кровь чувяки, откатил ее ногою. Алая кровь

хлынула из артерий шеи и черная из головы и залила траву.

И Карганов, и Гаджи-Ага, и Ахмет-Хан, и все милиционеры, как охотник

над убитым зверем, собрались над телами Хаджи-Мурата и его людей (Ханефи,

Кур-бана и Гамзалу связали) и, в пороховом дыму стоявшие в кустах, весело

разговаривая, торжествовали свою победу.

Соловьи, смолкнувшие во время стрельбы, опять защелкали, сперва один

близко и потом другие на дальнем конце.

Вот эту-то смерть и напомнил мне раздавленный репей среди вспаханного

поля.

**Казаки**

**IV**

Вся часть Терской линии, по которой расположены гребенские станицы, около восьмидесяти верст длины, носит на себе одинаковый характер и по местности и по населению. Терек, отделяющий казаков от горцев, течет мутно и быстро, но уже широко и спокойно, постоянно нанося сероватый песок на низкий, заросший камышом правый берег и подмывая обрывистый, хотя и не высокий левый берег с его корнями столетних дубов, гниющих чинар и молодого подроста. По правому берегу расположены мирные, но еще беспокойные аулы; вдоль по левому берегу, в полуверсте от воды, на расстоянии семи и восьми верст одна от другой, расположены станицы. В старину бoльшая часть этих станиц были на самом берегу; но Терек, каждый год отклоняясь к северу от гор, подмыл их, и теперь видны только густо заросшие старые городища, сады, груши, лычи и раины, переплетенные ежевичником и одичавшим виноградником. Никто уже не живет там, и только видны по песку следы оленей, бирюков [волков. (Прим. Л. Н. Толстого.)], зайцев и фазанов, полюбивших эти места. От станицы до станицы идет дорога, прорубленная в лесу на пушечный выстрел. По дороге расположены кордоны, в которых стоят казаки; между кордонами, на вышках, находятся часовые. Только узкая, саженей в триста, полоса лесистой плодородной земли составляет владения казаков. На север от них начинаются песчаные буруны Ногайской, или Моздокской, степи, идущей далеко на север и сливающейся бог знает где с Трухменскими, Астраханскими и Киргиз-Кайсацкими степями. На юг за Тереком - Большая Чечня, Кочкалыковский хребет, Черные горы, еще какой-то хребет и, наконец, снежные горы, которые только видны, но в которых никто никогда еще не был. На этой-то плодородной, лесистой и богатой растительностью полосе живет с незапамятных времен воинственное, красивое и богатое староверческое русское население, называемое гребенскими казаками.

Очень, очень давно предки их, староверы, бежали из России и поселились за Тереком, между чеченцами на Гребне, первом хребте лесистых гор Большой Чечни. Живя между чеченцами, казаки перероднились с ними и усвоили себе обычаи, образ жизни и нравы горцев; но удержали и там во всей прежней чистоте русский язык и старую веру. Предание, еще до сих пор свежее между казаками, говорит, что царь Иван Грозный приезжал на Терек, вызывал с Гребня к своему лицу стариков, дарил им землю но ею сторону реки, увещевал жить в дружбе и обещал не принуждать их ни к подданству, ни к перемене веры. Еще до сих пор казацкие роды считаются родством с чеченскими, и любовь к свободе, праздности, грабежу и войне составляет главные черты их характера. Влияние России выражается только с невыгодной стороны: стеснением в выборах, снятием колоколов и войсками, которые стоят и проходят там. Казак, по влечению, менее ненавидит джигита-горца, который убил его брата, чем солдата, который стоит у него, чтобы защищать его станицу, но который закурил табаком его хату. Он уважает врага-горца, но презирает чужого для него и угнетателя солдата. Собственно, русский мужик для казака есть какое-то чуждое, дикое и презренное существо, которого образчик он видал в заходящих торгашах и переселенцах-малороссиянах, которых казаки презрительно называют шаповалами. Щегольство в одежде состоит в подражании черкесу. Лучшее оружие добывается от горца, лучшие лошади покупаются и крадутся у них же. Молодец казак щеголяет знанием татарского языка и, разгулявшись, даже с своим братом говорит по-татарски. Несмотря на то, этот христианский народец, закинутый в уголок земли, окруженный полудикими магометанскими племенами и солдатами, считает себя на высокой степени развития и признает человеком только одного казака; на все же остальное смотрит с презрением. Казак большую часть времени проводит на кордонах, в походах, на охоте или рыбной ловле. Он почти никогда не работает дома. Пребывание его в станице есть исключение из правила - праздник, и тогда он гуляет. Вино у казаков у всех свое, и пьянство есть не столько общая всем склонность, сколько обряд, неисполнение которого сочлось бы за отступничество. На женщину казак смотрит как на орудие своего благосостояния; девке только позволяет гулять, бабу же заставляет с молодости и до глубокой старости работать для себя и смотрит на женщину с восточным требованием покорности и труда. Вследствие такого взгляда женщина, усиленно развиваясь и физически и нравственно, хотя и покоряясь наружно, получает, как вообще на Востоке, без сравнения большее, чем на Западе, влияние и вес в домашнем быту. Удаление ее от общественной жизни и привычка к мужской тяжелой работе дают ей тем больший вес и силу в домашнем быту. Казак, который при посторонних считает неприличным ласково или праздно говорить с своею бабой, невольно чувствует ее превосходство, оставаясь с ней с глазу на глаз. Весь дом, все имущество, все хозяйство приобретено ею и держится только ее трудами и заботами. Хотя он и твердо убежден, что труд постыден для казака и приличен только работнику-ногайцу и женщине, он смутно чувствует, что все, чем он пользуется и называет своим, есть произведение этого труда и что во власти женщины, матери или жены, которую он считает своею холопкой, лишить его всего, чем он пользуется. Кроме того, постоянный мужской, тяжелый труд и заботы, переданные ей на руки, дали особенно самостоятельный, мужественный характер гребенской женщине и поразительно развили в ней физическую силу, здравый смысл, решительность и стойкость характера. Женщины большею частию и сильнее, и умнее, и развитее, и красивее казаков. Красота гребенской женщины особенно поразительна соединением самого чистого типа черкесского лица с широким и могучим сложением северной женщины. Казачки носят одежду черкесскую: татарскую рубаху, бешмет и чувяки; но платки завязывают по-русски. Щегольство, чистота и изящество в одежде и убранстве хат составляют привычку и необходимость их жизни. В отношениях к мужчинам женщины, и особенно девки, пользуются совершенною свободой. Станица Новомлинская считалась корнем гребенского казачества. В ней, более чем в других, сохранились нравы старых гребенцов, и женщины этой станицы исстари славились своею красотой по всему Кавказу. Средства жизни казаков составляют виноградные и фруктовые сады, бахчи с арбузами и тыквами, рыбная ловля, охота, посевы кукурузы и проса и военная добыча.

Новомлинская станица стоит в трех верстах от Терека, отделяясь от него густым лесом. С одной стороны дороги, проходящей через станицу,- река; с другой - зеленеют виноградные, фруктовые сады и виднеются песчаные буруны (наносные пески) Ногайской степи. Станица обнесена земляным валом и колючим терновником. Выезжают из станицы и въезжают в нее высокими на столбах воротами с небольшою, крытою камышом крышкой, около которых стоит на деревянном лафете пушка, уродливая, сто лет не стрелявшая, когда-то отбитая казаками. Казак в форме, в шашке и ружье, иногда стоит, иногда не стоит на часах у ворот, иногда делает, иногда не делает фрунт проходящему офицеру. Под крышкой ворот на белой дощечке черною краской написано: домов 266, мужеского пола душ 897, женского пола 1012. Дома казаков все подняты на столбах от земли на аршин и более, опрятно покрыты камышом, с высокими князьками. Все ежели не новы, то прямы, чисты, с разнообразными высокими крылечками и не прилеплены друг к другу, а просторно и живописно расположены широкими улицами и переулками. Перед светлыми большими окнами многих домов, за огородками, поднимаются выше хат темно-зеленые раины, нежные светлолиственные акации с белыми душистыми цветами, и тут же нагло блестящие желтые подсолнухи и вьющиеся лозы травянок и винограда. На широкой площади виднеются три лавочки с красным товаром, семечком, стручками и пряниками; и за высокой оградой, из-за ряда старых раин, виднеется, длиннее и выше всех других, дом полкового командира со створчатыми окнами. Народа, особенно летом, всегда мало виднеется в будни по улицам станицы. Казаки на службе: на кордонах и в походе; старики на охоте, рыбной ловле или с бабами на работе в садах и огородах. Только совсем старые, малые и больные остаются дома.

**V**

Был тот особенный вечер, какой бывает только на Кавказе. Солнце зашло за горы, но было еще светло. Заря охватила треть неба, и на свете зари резко отделялись бело-матовые громады гор. Воздух был редок, неподвижен и звучен. Длинная, в несколько верст, тень ложилась от гор на степи. В степи, за рекой, по дорогам - везде было пусто. Ежели редко-редко где покажутся верховые, то уже казаки с кордона и чеченцы из аула с удивлением и любопытством смотрят на верховых и стараются догадаться, кто могут быть эти недобрые люди. Как вечер, так люди из страха друг перед другом жмутся к жильям, и только зверь и птица, не боясь человека, свободно рыщут по этой пустыне. Из садов спешат с веселым говором до захождения солнца казачки, привязывавшие плети. И в садах становится пусто, как и во всей окрестности; по станица в эту пору вечера особенно оживляется. Со всех сторон подвигается пешком, верхом и на скрипучих арбах народ к станице. Девки в подоткнутых рубахах, с хворостинами, весело болтая, бегут к воротам навстречу скотине, которая толпится в облаке пыли и комаров, приведенных ею за собой из степи. Сытые коровы и буйволицы разбредаются по улицам, и казачки в цветных бешметах снуют между ними. Слышен их резкий говор, веселый смех и визги, перебиваемые ревом скотины. Там казак в оружии, верхом, выпросившийся с кордона, подъезжает к хате и, перегибаясь к окну, постукивает в него, и вслед за стуком показывается красивая молодая голова казачки и слышатся улыбающиеся, ласковые речи. Там скуластый оборванный работник-ногаец, приехав с камышом из степи, поворачивает скрипящую арбу па чистом широком дворе есаула, и скидает ярмо с мотающих головами быков, и перекликается по-татарски с хозяином. Около лужи, занимающей почти всю улицу и мимо которой столько лет проходят люди, с трудом лепясь по заборам, пробирается босая казачка с вязанкой дров за спиной, высоко поднимая рубаху над белыми ногами, и возвращающийся казак-охотник, шутя, кричит: "Выше подними, срамница",- и целится в нее, и казачка опускает рубаху и роняет дрова. Старик казак с засученными штанами и раскрытою седою грудью, возвращаясь с рыбной ловли, несет через плечо в сапетке [наметке. (Прим. Л. Н. Толстого.)] еще бьющихся серебристых шамаек и, чтоб ближе пройти, лезет через проломанный забор соседа и отдирает от забора зацепившийся зипун. Там баба тащит сухой сук, и слышатся удары топора за углом. Визжат казачата, гоняющие кубари на улицах везде, где вышло ровное место. Через заборы, чтобы не обходить, перелезают бабы. Изо всех труб поднимается душистый дым кизяка. На каждом дворе слышится усиленная хлопотня, предшествующая тишине ночи.

Бабука Улитка, жена хорунжего и школьного учителя, так же как и другие, вышла к воротам своего двора и ожидает скотину, которую по улице гонит ее девка Марьянка. Она не успела еще отворить плетня, как громадная буйволица, провожаемая комарами, мыча, проламывается сквозь ворота; за ней медленно идут сытые коровы, большими глазами признавая хозяйку и хвостом мерно хлеща себя по бокам. Стройная красавица Марьянка проходит в ворота и, бросая хворостину, закидывает плетень и со всех резвых ног бросается разбивать и загонять на дворе скотину. "Разуйся, чертова девка,- кричит мать,-чувяки-то [Чувяки-обувь. (Прим. Л. Н. Толстого.)] все истоптала". Марьяна нисколько не оскорбляется названием чертовой девки и принимает эти слова за ласку и весело продолжает свое дело. Лицо Марьяны закрыто обвязанным платком; на ней розовая рубаха и зеленый бешмет. Она скрывается под навесом двора вслед за жирною крупною скотиной, и только слышится из клети ее голос, нежно уговаривающий буйволицу: "Не постоит! Эка ты! Ну тебя, ну, матушка!.." Вскоре приходит девка с старухой из закуты в избушку [Избушкой у казаков называется низенький холодный срубец, где кипятится и сберегается молочный скоп. (Прим. Л. Н. Толстого.)], и обе несут два большие горшка молока - подой нынешнего дня. Из глиняной трубы избушки скоро поднимается дым кизяка, молоко переделывается в каймак; девка разжигает огонь, а старуха выходит к воротам. Сумерки охватили уже станицу. По всему воздуху разлит запах овоща, скотины и душистого дыма кизяка. У ворот и по улицам везде перебегают казачки, несущие в руках зажженные тряпки. На дворе слышно пыхтенье и спокойная жвачка опроставшейся скотины, и только женские и детские голоса перекликаются по дворам и улицам. В будни редко когда заслышится мужской пьяный голос.

Одна из казачек, старая, высокая, мужественная женщина, с противоположного двора, подходит к бабуке Улитке просить огня; в руке у нее тряпка.

- Что, бабука, убрались? - говорит она.

- Девка топит. Аль огоньку надо? - говорит бабука Улитка, гордая тем, что может услужить.

Обе казачки идут в хату; грубые руки, не привыкшие к мелким предметам, с дрожанием сдирают крышку с драгоценной коробочки со спичками, которые составляют редкость на Кавказе. Пришедшая мужественная казачка садится на приступок с очевидным намерением поболтать.

- Что твой-то, мать, в школе? - спрашивает пришедшая.

- Все ребят учит, мать. Писал, к празднику будет,- говорит хорунжиха.

- Человек умный ведь; в пользу все.

- Известно, в пользу.

- А мой Лукаша на кордоне, а домой не пускают,- говорит пришедшая, несмотря на то, что хорунжиха давно это знает. Ей нужно поговорить про своего Лукашу, которого она только собрала в казаки и которого она хочет женить на Марьяне, хорунжевой дочери.

- На кордоне и стоит?

- Стоит, мать. С праздника не бывал. Намедни с Фомушкиным рубахи послала. Говорит: ничего, начальство одобряет. У них, баит, опять абреков ищут. Лукаша, говорит, весел, ничего.

- Ну и слава богу,- говорит хорунжиха. - Урван - одно слово.

Лукашка прозван У рваном за молодечество, за то, что казачонка вытащил из воды, урвал. И хорунжиха помянула про это, чтобы с своей стороны сказать приятное Лукашкиной матери.

- Благодарю бога, мать, сын хороший, молодец, все одобряют,- говорит Лукашкина мать,- только бы женить его, и померла бы спокойно.

- Что ж, девок мало ли по станице? - отвечает хитрая хорунжиха, корявыми руками старательно надевая крышку на коробочку со спичками.

- Много, мать, много,- замечает Лукашкина мать и качает головой,- твоя девка, Марьянушка-то, твоя вот девка, так по полку поискать.

Хорунжиха знает намерение Лукашкиной матери, и хотя Лукашка ей кажется хорошим казаком, она отклоняется от этого разговора, во-первых, потому, что она - хорунжиха и богачка, а Лукашка - сын простого казака, сирота. Во-вторых, потому, что не хочется ей скоро расстаться с дочерью. Главное же потому, что приличие того требует.

- Что ж, Марьянушка подрастет, также девка будет,- говорит она сдержанно и скромно.

- Пришлю сватов, пришлю, дай сады уберем, твоей милости кланяться придем,- говорит Лукашкина мать. - Илье Васильевичу кланяться придем.

- Что Иляс! - гордо говорит хорунжиха,- со мной говорить надо. На все свое время.

Лукашкина мать по строгому лицу хорунжихи видит, что дальше говорить неудобно, зажигает спичкой тряпку и, приподнимаясь, говорит: - Не оставь, мать, попомни эти слова. Пойду, топить надо,- прибавляет она.

Переходя через улицу и размахивая в вытянутой руке зажженную тряпку, она встречает Марьянку, которая кланяется ей.

"Краля девка, работница девка,- думает она, глядя на красавицу. - Куда ей расти! Замуж пора, да в хороший дом, замуж за Лукашку".

У бабуки же Улитки своя забота, и она как сидела на пороге, так и остается, и о чем-то трудно думает, до тех пор пока девка не позвала ее.

**VI**

Мужское население станицы живет в походах и на кордонах, или постах, как называют казаки. Тот самый Лукашка Урван, про которого говорили старухи в станице, перед вечером стоял на вышке Нижне-Протоцкого поста. Нижне-Протоцкий пост - на самом берегу Терека. Облокотившись на перильцы вышки, он, щурясь, поглядывал то на даль за Тереком, то вниз на товарищей-казаков и изредка заговаривал с ними. Солнце уже приближалось к снеговому хребту, белевшему над курчавыми облаками. Облака, волнуясь у его подошвы, принимали более и более темные тени. В воздухе разливалась вечерняя прозрачность. Из заросшего дикого леса тянуло свежестью, но около поста еще было жарко. Голоса разговаривавших казаков звучнее раздавались и стояли в воздухе. Коричневый быстрый Терек отчетливой отделялся от неподвижных берегов всею своею подвигающеюся массой. Он начинал сбывать, и кое-где мокрый песок бурел на берегах и на отмелях. Прямо против кордона, на том берегу, все было пусто; только низкие бесконечные и пустынные камыши тянулись до самых гор. Немного в стороне виднелись на низком берегу глиняные дома, плоские крыши и воронкообразные трубы чеченского аула. Зоркие глаза казака, стоявшего на вышке, следили в вечернем дыму мирного аула за движущимися фигурами издалека видневшихся чеченок в синих и красных одеждах.

Несмотря на то, что казаки каждый час ожидали переправы и нападения абреков [Абреком называется немирнoй чеченец, с целью воровства или грабежа переправившийся на русскую сторону Терека. (Прим. Л. Н. Толстого.)] с татарской стороны, особенно в мае месяце, когда лес по Тереку так густ, что пешему трудно пролезть чрез него, а река так мелка, что кое-где можно переезжать ее вброд, и несмотря на то, что дня два тому назад прибегал [Прибегал - значит на казачьем наречье - приезжал верхом. (Прим. Л. Н. Толстого.)] от полкового командира казак с цидулкой [Цидулой называется циркуляр, рассылаемый по постам. (Прим. Л. Н. Толстого.)], в которой значилось, что, по полученным чрез лазутчиков сведениям, партия в восемь человек намерена переправиться через Терек, и потому предписывается наблюдать особую осторожность,- на кордоне не соблюдалось особенной осторожности. Казаки, как дома, без оседланных лошадей, без оружия, занимались кто рыбною ловлей, кто пьянством, кто охотой. Только лошадь дежурного оседланная ходила в треноге по тернам около леса, и только часовой казак был в черкеске, ружье и шашке. Урядник, высокий худощавый казак, с чрезвычайно длинною спиной и маленькими ногами и руками, в одном расстегнутом бешмете, сидел на завалине избы и с выражением начальнической лени и скуки, закрыв глаза, переваливал голову с руки на руку. Пожилой казак с широкою седоватою черною бородой, в одной подпоясанной черным ремнем рубахе, лежал у самой воды и лениво смотрел на однообразно бурливший и заворачивающий Терек. Другие, также измученные жаром, полураздетые, кто полоскал белье в Тереке, кто вязал уздечку, кто лежал на земле, мурлыкая песню, на горячем песке берега. Один из казаков с худым и черно-загорелым лицом, видимо мертвецки пьяный, лежал навзничь у одной из стен избы, часа два тому назад бывшей в тени, но на которую теперь прямо падали жгучие косые лучи.

Лукашка, стоявший на вышке, был высокий, красивый малый лет двадцати, очень похожий на мать. Лицо и все сложение его, несмотря на угловатость молодости, выражали большую физическую и нравственную силу. Несмотря на то, что он недавно был собран в строевые, по широкому выражению его лица и спокойной уверенности позы видно было, что он уже успел принять свойственную казакам и вообще людям, постоянно носящим оружие, воинственную и несколько гордую осанку, что он казак и знает себе цену не ниже настоящей. Широкая черкеска была кое-где порвана, шапка была заломлена назад по-чеченски, ноговицы спущены ниже колен. Одежа его была небогатая, но она сидела на нем с тою особою казацкою щеголеватостью, которая состоит в подражании чеченским джигитам. На настоящем джигите все всегда широко, оборванно, небрежно; одно оружие богато. Но надето, подпоясано и пригнано это оборванное платье и оружие одним известным образом, который дается не каждому и который сразу бросается в глаза казаку или горцу. Лукашка имел этот вид джигита. Заложив руки за шашку и щуря глаза, он все вглядывался в дальний аул. Порознь черты лица его были нехороши, но, взглянув сразу на его статное сложение и чернобровое умное лицо, всякий невольно сказал бы: "Молодец малый!"

- Баб-то, баб-то в ауле что высыпало! - сказал он резким голосом, лениво раскрывая яркие белые зубы и не обращаясь ни к кому в особенности.

Назарка, лежавший внизу, тотчас же торопливо поднял голову и заметил:

- За водой, должно, идут.

- Из ружья бы пугнуть, - сказал Лукашка, посмеиваясь, - то-то бы переполошились!

- Не донесет.

- Вона! Мое через перенесет. Вот дай срок, их праздник будет, пойду к Гирей-хану в гости, бузу [Татарское пиво из пшена. (Прим. Л. Н. Толстого.)] пить, - сказал Лукашка, сердито отмахиваясь от липнувших к нему комаров.

Шорох в чаще обратил внимание казаков. Пестрый легавый ублюдок, отыскивая след и усиленно махая облезлым хвостом, подбегал к кордону. Лукашка узнал собаку соседа-охотника, дяди Ерошки, и вслед за ней разглядел в чаще подвигавшуюся фигуру самого охотника.

Дядя Ерошка был огромного роста казак, с седою как лунь широкою бородой и такими широкими плечами и грудью, что в лесу, где не с кем было сравнить его, он казался невысоким: так соразмерны были все его сильные члены. На нем был оборванный подоткнутый зипун, на ногах обвязанные веревочками по онучам оленьи поршни [Обувь из невыделанной кожи, надеваемая только размоченная. (Прим. Л. Н. Толстого.)] и растрепанная белая шапчонка. За спиной он нес чрез одно плечо кобылку [Орудие для того, чтоб подкрадываться под фазанов. (Прим. Л. Н. Толстого.)] и мешок с курочкой и кобчиком для приманки ястреба; чрез другое плечо он нес на ремне дикую убитую кошку; на спине за поясом заткнуты были мешочек с пулями, порохом и хлебом, конский хвост, чтоб отмахиваться от комаров, большой кинжал с прорванными ножнами, испачканными старою кровью, и два убитые фазана. Взглянув на кордон, он остановился.

- Гей, Лям! - крикнул он на собаку таким заливистым басом, что далеко в лесу отозвалось эхо, и, перекинув на плечо огромное пистонное ружье, называемое у казаков флинтой, приподнял шапку.

- Здорово дневали, добрые люди! Гей! - обратился он к казакам тем же сильным и веселым голосом, без всякого усилия, но так громко, как будто кричал кому-нибудь на другую сторону реки.

- Здорово, дядя! Здорово! - весело отозвались с разных сторон молодые голоса казаков.

- Что видали? Сказывай! - прокричал дядя Ерошка, отирая рукавом черкески пот с красного широкого лица.

- Слышь, дядя! Какой ястреб вo тут на чинаре живет! Как вечер, так и вьется, - сказал Назарка, подмигивая глазом и подергивая плечом и ногою.

- Ну, ты! - недоверчиво сказал старик.

- Право, дядя, ты посиди [Посидеть-значит караулить зверя. (Прим. Л. Н. Толстого.)],-подтвердил Назарка, посмеиваясь.

Казаки засмеялись.

Шутник не видал никакого ястреба; но у молодых казаков на кордоне давно вошло в обычай дразнить и обманывать дядю Ерошку всякий раз, как он приходил к ним.

- Э, дурак, только брехать! - проговорил Лукашка с вышки на Назарку.

Назарка тотчас же замолк.

- Надо посидеть. Посижу, - отозвался старик к великому удовольствию всех казаков. - А свиней видали?

- Легко ли? Свиней смотреть! - сказал урядник, очень довольный случаю развлечься, переваливаясь и обеими руками почесывая свою длинную спину. - Тут абреков ловить, а не свиней, надо. Ты ничего не слыхал, дядя, а? - прибавил он, без причины щурясь и открывая белые сплошные зубы.

- Абреков-то? - проговорил старик.- Не, не слыхал. А что, чихирь есть? Дай испить, добрый человек. Измаялся, право. Я тебе, вот дай срок, свежинки принесу, право, принесу. Поднеси, - прибавил он.

- Ты что ж, посидеть, что ли, хочешь? - спросил урядник, как будто не расслышав, что сказал тот.

- Хотел ночку посидеть, - отвечал дядя Ерошка, - може, к празднику и даст бог, замордую что; тогда и тебе дам, право!

- Дядя! Ау! Дядя! - резко крикнул сверху Лука, обращая на себя внимание, и все казаки оглянулись на Лукашку.-Ты к верхнему протоку сходи, там табун важный ходит. Я не вру. Пра! Намеднись наш казак одного стрелил. Правду говорю,- прибавил он, поправляя за спиной винтовку и таким голосом, что видно было, что он не смеется.

- Э, Лукашка Урван здесь! - сказал старик, взглядывая кверху. - Кое место стрелил?

- А ты и не видал! Маленький, видно, - сказал Лукашка. - У самой у канавы, дядя, - прибавил он серьезно, встряхивая головой. - Шли мы так-то по канаве, как он затрещит, а у меня ружье в чехле было, Иляска как лопнет... [Лопнет-выстрелит на казачьем языке. (Прим. Л. Н. Толстого.)] Да я тебе покажу, дядя, кое место,- недалече. Вот дай срок. Я, брат, все его дорожки знаю. Дядя Мосев! - прибавил он решительно и почти повелительно уряднику, - пора сменять! - и, подобрав ружье, не дожидаясь приказания, стал сходить с вышки.

- Сходи! - сказал уже после урядник, оглядываясь вокруг себя,-Твои часы, что ли, Гурка? Иди! И то, ловок стал Лукашка твой, - прибавил урядник, обращаясь к старику.- Все, как ты, ходит, дома не посидит; намедни убил одного.

**VII**

Солнце уже скрылось, и ночные тени быстро надвигались со стороны леса. Казаки кончили свои занятия около кордона и собирались к ужину в избу. Только старик, все еще ожидая ястреба и подергивая привязанного за ногу кобчика, оставался под чинарой. Ястреб сидел на дереве, но не спускался на курочку. Лукашка неторопливо улаживал в самой чаще тернов, на фазаньей тропке, петли для ловли фазанов и пел одну песню за другою. Несмотря на высокий рост и большие руки, видно было, что всякая работа, крупная и мелкая, спорилась в руках Лукашки.

- Гей, Лука! - послышался ему недалеко из чащи пронзительно-звучный голос Назарки. - Казаки ужинать пошли.

Назарка с живым фазаном под мышкой, продираясь через терны, вылез на тропинку.

- О! - сказал Лукашка, замолкая. - Где петуха-то взял? Должно, мой пружок... [Силки, которые ставят для ловли фазанов. (Прим. Л. Н. Толстого.)]

Назарка был одних лет с Лукашкой и тоже с весны только поступил в строевые.

Он был малый некрасивый, худенький, мозглявый, с визгливым голосом, который так и звенел в ушах. Они были соседи и товарищи с Лукою. Лукашка сидел по-татарски на траве и улаживал петли.

- Не знаю чей. Должно, твой.

- За ямой, что ль, у чинары? Мой и есть, вчера постановил.

Лукашка встал и посмотрел пойманного фазана. Погладив рукой по темно-сизой голове, которую петух испуганно вытягивал, закатывая глаза, он взял его в руки.

- Нынче пилав сделаем; ты поди зарежь да ощипи.

- Что ж, сами съедим или уряднику отдать?

- Будет с него.

- Боюсь я их резать, - сказал Назарка.

- Давай сюда.

Лукашка достал ножичек из-под кинжала и быстро дернул им. Петух встрепенулся, но не успел расправить крылья, как уже окровавленная голова загнулась и забилась.

- Вот так-то делай! - проговорил Лукашка, бросая петуха. - Жирный пилав будет.

Назарка вздрогнул, глядя на петуха.

- А слышь, Лука, опять нас в секрет пошлет черт-то, - прибавил он, поднимая фазана и под чертом разумея урядника.- Фомушкина за чихирем услал, его черед был. Котору ночь ходим! Только на нас и выезжает.

Лукашка, посвистывая, пошел по кордону.

- Захвати бечевку-то! - крикнул он.

Назарка повиновался.

- Я ему нынче скажу, право, скажу,- продолжал Назарка.- Скажем: не пойдем, измучились, да и все тут. Скажи, право, он тебя послушает. А то что это!

- Во нашел о чем толковать! - сказал Лукашка, видимо думая о другом, - дряни-то! Добро бы из станицы на ночь выгонял, обидно бы было. Там погуляешь, а тут что? Что на кордоне, что в секрете, все одно. Эка ты...

- А в станицу придешь?

- На праздник пойду.

- Сказывал Гурка, твоя Дунайка с Фомушкиным гуляет, - вдруг сказал Назарка.

- А черт с ней! - отвечал Лукашка, оскаливая сплошные белые зубы, но не смеясь. - Разве я другой не найду.

- Как сказывал Гурка-то: пришел, говорит, он к ней, а мужа нет. Фомушкин сидит, пирог ест. Он посидел, да и пошел под окно; слышит, она и говорит: "Ушел черт-то. Что, родной, пирожка не ешь? А спать, говорит, домой не ходи". А он и говорит из-под окна: "Славно".

- Врешь!

- Право, ей-богу. Лукашка помолчал.

- А другого нашла, черт с ней: девок мало ли? Она мне и то постыла.

- Вот ты черт какой! - сказал Назарка. - Ты бы к Марьянке хорунжиной подъехал. Что она ни с кем не гуляет?

Лукашка нахмурился.

- Что Мирьянка! все одно! - сказал он.

- Да вот сунься-ка...

- А ты что думаешь? Да мало ли их по станице? И Лукашка опять засвистал и пошел к кордону, обрывая листья с сучьев. Проходя по кустам, он вдруг остановился, заметив гладкое деревцо, вынул из-под кинжала ножик и вырезал.

- То-то шомпол будет,- сказал он, свистя в воздухе прутом.

Казаки сидели за ужином в мазаных сенях кордона, на земляном полу, вокруг низкого татарского столика, когда речь зашла о череде в секрет.

- Кому ж нынче идти? - крикнул один из казаков, обращаясь к уряднику в отворенную дверь хаты.

- Да кому идти? - отозвался урядник. - Дядя Бурлак ходил, Фомушкин ходил, - сказал он не совсем уверенно. - Идите вы, что ли? Ты да Назар, - обратился он к Луке, - да Ергушов пойдет; авось проспался.

- Ты-то не просыпаешься, так ему как же! - сказал Назарка вполголоса.

Казаки засмеялись.

Ергушов был тот самый казак, который пьяный спал у избы. Он только что, протирая глаза, ввалился в сени.

Лукашка в это время, встав, справлял ружье.

- Да скорей идите; поужинайте и идите, - сказал урядник. И, не ожидая выражения согласия, урядник затворил дверь, видимо мало надеясь на послушание казаков. - Кабы не приказано было, я бы не послал, а то, гляди, сотник набежит. И то, говорят, восемь человек абреков переправилось.

- Что ж, идти надо, - говорил Ергушов, - порядок! Нельзя, время такое. Я говорю, идти надо.

Лукашка между тем, держа обеими руками передо ртом большой кусок фазана и поглядывая то на урядника, то на Назарку, казалось, был совершенно равнодушен к тому, что происходило, и смеялся над обоими. Казаки еще не успели убраться в секрет, когда дядя Ерошка, до ночи напрасно просидевший под чинарой, вошел в темные сени.

- Ну, ребята, - загудел в низких сенях его бас, покрывавший все голоса,- вот и я с вами пойду. Вы на чеченцев, а я на свиней сидеть буду.

**VIII**

Было уже совсем темно, когда дядя Ерошка и трое казаков с кордона, в бурках и с ружьями за плечами, пошли вдоль по Тереку на место, назначенное для секрета. Назарка вовсе не хотел идти, но Лука крикнул на него, и они живо собрались. Пройдя молча несколько шагов, казаки свернули с канавы и по чуть заметной тропинке в камышах подошли к Тереку. У берега лежало толстое черное бревно, выкинутое водой, и камыш вокруг бревна был свежо примят.

- Здесь, что ль, сидеть? - сказал Назарка.

- А то чего ж! - сказал Лукашка,- садись здесь, а я живо приду, только дяде укажу.

- Самое тут хорошее место: нас не видать, а нам видно, - сказал Ергушов, - тут и сидеть; самое первое место.

Назарка с Ергушовым, разостлав бурки, расположились за бревном, а Лукашка пошел дальше с дядей Ерошкой.

- Вот тут недалече, дядя, - сказал Лукашка, неслышно ступая вперед старика, - я укажу, где прошли. Я, брат, один знаю.

- Укажь; ты молодец, Урван, - так же шепотом отвечал старик.

Пройдя несколько шагов, Лукашка остановился, нагнулся над лужицей и свистнул.

- Вот где пить прошли, видишь, что ль? - чуть слышно сказал он, указывая на свежий след.

- Спаси тебя Христос, - отвечал старик, - карга за канавой, в котлубани [Котлубанью называется яма, иногда просто лужа, в которой мажется кабан, натирая себе "калган", толстую хрящеватую шкуру. (Прим. Л. Н. Толстого.)] будет, - прибавил он. - Я посижу, а ты ступай.

Лукашка вскинул выше бурку и один пошел назад по берегу, быстро поглядывая то налево - на стену камышей, то на Терек, бурливший подле под берегом. "Ведь тоже караулит или ползет где-нибудь", - подумал он про чеченца. Вдруг сильный шорох и плесканье в воде заставили его вздрогнуть и схватиться за винтовку. Из-под берега, отдуваясь, выскочил кабан, и черная фигура, отделившись на мгновенье от глянцевитой поверхности воды, скрылась в камышах. Лука быстро выхватил ружье, приложился, но не успел выстрелить: кабан уже скрылся в чаще. Плюнув с досады, он пошел дальше. Подходя к месту секрета, он снова приостановился и слегка свистнул. Свисток откликнулся, и он подошел к товарищам.

Назарка, свернувшись, уже спал. Ергушов сидел, поджав под себя ноги, и немного посторонился, чтобы дать место Лукашке.

- Как сидеть весело, право, место хорошее, - сказал он.- Проводил?

- Указал, - отвечал Лукашка, расстилая бурку. - А сейчас какого здорового кабана у самой воды стронул. Должно, тот самый! Ты небось слышал, как затрещал?

- Слышал, как затрещал зверь, Я сейчас узнал, что зверь. Так и думаю: Лукашка зверя спугнул, - сказал Ергушов, завертываясь в бурку.- Я теперь засну,- прибавил он,- ты разбуди после петухов; потому, порядок надо. Я засну, поспим; а там ты заснешь, я посижу; так-то.

- Я и спать, спасибо, не хочу, - ответил Лукашка. Ночь была темная, теплая и безветренная. Только с одной стороны небосклона светились звезды; другая и бoльшая часть неба, от гор, была заволочена одною большою тучей. Черная туча, сливаясь с горами, без ветра, медленно подвигалась дальше и дальше, резко отделяясь своими изогнутыми краями от глубокого звездного неба. Только впереди казаку виднелся Терек и даль; сзади и с боков его окружала стена камышей. Камыши изредка, как будто без причины, начинали колебаться и шуршать друг о друга. Снизу колеблющиеся махалки казались пушистыми ветвями дерев на светлом краю неба. У самых ног спереди был берег, под которым бурлил поток. Дальше глянцевитая движущаяся масса коричневой воды однообразно рябила около отмелей и берега. Еще дальше и вода, и берег, и туча - все сливалось в непроницаемый мрак. По поверхности воды тянулись черные тени, которые привычный глаз казака признавал за проносимые сверху коряги. Только изредка зарница, отражаясь в воде, как в черном зеркале, обозначала черту противоположного отлогого берега. Равномерные ночные звуки шуршанья камышин, храпенья казаков, жужжанья комаров и теченья воды прерывались изредка то дальним выстрелом, то бульканьем отвалившегося берега, то всплеском большой рыбы, то треском зверя по дикому, заросшему лесу. Раз сова пролетела вдоль по Тереку, задевая ровно через два взмаха крылом о крыло. Над самою головой казаков она поворотила к лесу и, подлетая к дереву, не через раз, а уже с каждым взмахом задевала крылом о крыло и потом долго копошилась, усаживаясь на старой чинаре. При всяком таком неожиданном звуке слух неспавшего казака усиленно напрягался, глаза щурились, и он неторопливо ощупывал винтовку.

Прошла большая часть ночи. Черная туча, протянувшись на запад, из-за своих разорванных краев открыла чистое звездное небо, и перевернутый золотистый рог месяца красно засветился над горами. Стало прохватывать холодом. Назарка проснулся, поговорил и опять заснул. Лукашка соскучился, встал, достал ножик из-под кинжала и начал строгать палочку на шомпол, В голове его бродили мысли о том, как там, в горах, живут чеченцы, как ходят молодцы на эту сторону, как не боятся они казаков и как могут переправиться в другом месте. И он высовывался и глядел вдоль реки, но ничего не было видно. Изредка поглядывая на реку и дальний берег, слабо отделявшийся от воды при робком свете месяца, он уже перестал думать о чеченцах и только ждал времени будить товарищей и идти в станицу. В станице ему представлялась Дунька, его душенька, как называют казаки любовниц, и он с досадой думал о ней. Признаки утра: серебристый туман забелел над водой, и молодью орлы недалеко от него пронзительно засвистали и захлопали крыльями. Наконец вскрик первого петуха донесся далеко из станицы, вслед за тем другой протяжный петушиный крик, на который отозвались другие голоса.

"Пора будить",-подумал Лукашка, кончив шомпол и почувствовав, что глаза его отяжелели. Обернувшись к товарищам, он разглядел, кому какие принадлежали ноги; но вдруг ему показалось, что плеснуло что-то на той стороне Терека, и он еще раз оглянулся на светлеющий горизонт гор под перевернутым серпом, на черту того берега, на Терек и на отчетливо видневшиеся теперь плывущие по нем карчи. Ему показалось, что он движется, а Терек с карчами неподвижен; но это продолжалось только мгновение. Он опять стал вглядываться. Одна большая черная карча с суком особенно обратила его внимание. Как-то странно, не перекачиваясь и не крутясь, плыла эта карча по самой середине. Ему даже показалось, что она плыла не по течению, а перебивала Терек на отмель. Лукашка, вытянув шею, начал пристально следить за ней. Карча подплыла к мели, остановилась и странно зашевелилась. Лукашке замерещилось, что показалась рука из-под карчи. "Вот как абрека один убью!"- подумал он, схватился за ружье, неторопливо, но быстро расставил подсошки, положил на них ружье, неслышно, придержав, взвел курок и, притаив дыхание, стал целиться, все всматриваясь. "Будить не стану", - думал он. Однако сердце застучало у него в груди так сильно, что он остановился и прислушался. Карча вдруг бултыхнула и снова поплыла, перебивая воду, к нашему берегу. "Не пропустить бы!"-подумал он, и вот, при слабом свете месяца, ему мелькнула татарская голова впереди карчи. Он навел ружьем прямо на голову. Она ему показалась совсем близко, на конце ствола. Он глянул через. "Он и есть, абрек",- подумал он радостно и, вдруг порывисто вскочив на колени, снова повел ружьем, высмотрел цель, которая чуть виднелась на конце длинной винтовки, и, по казачьей, с детства усвоенной привычке проговорив: "Отцу и сыну", - пожал шишечку спуска. Блеснувшая молния на мгновенье осветила камыши и воду. Резкий, отрывистый звук выстрела разнесся по реке и где-то далеко перешел в грохот. Карча уже поплыла не поперек реки, а вниз по теченью, крутясь и колыхаясь.

- Держи, я говорю! - закричал Ергушов, ощупывая винтовку и приподнимаясь из-за чурбана.

- Молчи, черт! - стиснув зубы, прошептал на него Лука. - Абреки!

- Кого стрелил? - спрашивал Назарка, - кого стрелил, Лукашка?

Лукашка ничего не отвечал. Он, заряжал ружье и следил за уплывающей карчой. Неподалеку остановилась она на отмели, и из-за нее показалось что-то большое, покачиваясь на воде.

- Чего стрелил? Что не сказываешь? - повторяли казаки.

- Абреки! сказывают тебе, - повторил Лука.

- Будет брехать-то! Али так вышло ружье-то?..

- Абрека убил! Вот что стрелил! - проговорил сорвавшимся от волнения голосом Лукашка, вскакивая на ноги. - Человек плыл... - сказал он, указывая на отмель. - Я его убил. Глянь-ка сюда.

- Будет врать-то,- повторял Ергушов, протирая глаза.

- Чего будет? - Вот, гляди! Гляди сюда,- сказал Лукашка, схватывая его за плеча и пригибая к себе с такой силой, что Ергушов охнул.

Ергушов посмотрел по тому направлению, куда указывал Лука, и, рассмотрев тело, вдруг переменил тон.

- Эна! Я тебе говорю, другие будут, верно тебе говорю,- сказал он тихо и стал осматривать ружье. - Это передовой плыл; либо уж здесь, либо недалече на той стороне; я тебе верно говорю.

Лукашка распоясался и стал скидывать черкеску.

- Куда ты, дурак? - крикнул Ергушов,- сунься только, ни за что пропадешь, я тебе верно говорю. Коли убил, не уйдет. Дай натруску, порошку подсыпать. У тебя есть? Назар! Ты ступай живо на кордон, да не по берегу ходи: убьют, верно говорю.

- Так я один и пошел! Ступай сам,- сказал сердито Назарка.

Лукашка, сняв черкеску, подошел к берегу.

- Не лазяй, говорят,- проговорил Ергушов, подсыпая порох на полку ружья. - Вишь, не шелохнется, уж я вижу. До утра недалече, дай с кордона прибегут. Ступай, Назар; эка робеешь! Не робей, я говорю.

- Лука, а Лука! - говорил Назарка, - да ты скажи, как убил.

Лука раздумал тотчас же лезть в воду.

- Ступайте на кордон живо, а я посижу. Да казакам велите в разъезд послать. Коли на этой стороне... ловить надо!

- Я говорю, уйдут,- сказал Ергушов, поднимаясь,- ловить надо, верно.

И Ергушов с Назаркой встали и, перекрестившись, пошли к кордону, но не берегом, а ломясь через терны и пролезая на лесную дорожку.

- Ну, смотри, Лука, не шелохнись,- проговорил Ергушов,- а то тоже здесь срежут тебя. Ты смотри не зевай, я говорю.

- Иди, знаю,- проговорил Лука и, осмотрев ружье, сел опять за чурбан.

Лукашка сидел один, смотрел на отмель и прислушивался, не слыхать ли казаков; но до кордона было далеко, а его мучило нетерпенье; он так и думал, что вот уйдут те абреки, которые шли с убитым. Как на кабана, который ушел вечером, досадно было ему на абреков, которые уйдут теперь. Он поглядывал то вокруг себя, то на тот берег, ожидая вот-вот увидать еще человека, и, приладив подсошки, готов был стрелять. О том, чтобы его убили, ему и в голову не приходило.

**IX**

Уже начинало светать. Все чеченское тело, остановившееся и чуть колыхавшееся на отмели, было теперь ясно видно. Вдруг невдалеке от казака затрещал камыш, послышались шаги и зашевелились махалки камыша. Казак взвел на второй взвод и проговорил: "Отцу и сыну". Вслед за щелканьем курка шаги затихли.

- Гей, казаки! Дядю не убей,- послышался спокойный бас, и, раздвигая камыши, дядя Ерошка вплоть подошел к нему.

- Чуть-чуть не убил тебя, ей-богу! - сказал Лукашка.

- Что стрелил? - спросил старик.

Звучный голос старика, раздавшийся в лесу и вниз по реке, вдруг уничтожил ночную тишину и таинственность, окружавшую казака. Как будто вдруг светлей и видней стало.

- Ты вот ничего не видал, дядя, а я убил зверя,- сказал Лукашка, спуская курок и вставая неестественно спокойно.

Старик, уже не спуская с глаз, смотрел на ясно теперь белевшуюся спину, около которой рябил Терек.

- С карчой на спине плыл. Я его высмотрел, да как... Глянь-ко сюда! Во! В портках синих, ружье никак... Видишь, что ль? - говорил Лука.

- Чего не видать! - с сердцем сказал старик, и что-то серьезное и строгое выразилось в лице старика. - Джигита убил,- сказал он как будто с сожалением.

- Сидел так-то я, гляжу, что чернеет с той стороны? Я еще там его высмотрел, точно человек подошел и упал. Что за диво! А карча, здоровая карча плывет, да не вдоль плывет, а поперек перебивает. Глядь, а из-под ней голова показывает. Что за чудо? Повел я, из камыша-то мне и не видно; привстал, а он услыхал, верно, бестия, да на отмель и выполз, оглядывает. Врешь, думаю, не уйдешь. Только выполз, оглядывает. (Ох, глотку завалило чем-то!) Я ружье изготовил, не шелохнусь, выжидаю. Постоял, постоял, опять и поплыл, да как наплыл на месяц-то, так аж спина видна. "Отцу и сыну и святому духу". Глядь из-за дыма, а он и барахтается. Застонал али почудилось мне? Ну, слава тебе, господи, думаю, убил! А как на отмель вынесло, все наружу стало, хочет встать, да и нет силы-то. Побился, побился и лег. Чисто, все видать. Вишь, не шелохнется, должно издох. Казаки на кордон побежали, как бы другие не ушли!

- Так и поймал! - сказал старик. - Далече, брат, теперь... - И он опять печально покачал головою. В это время пешие и конные казаки с громким говором и треском сучьев послышались по берегу.

- Ведут каюк, что ли? - крикнул Лука.

- Молодец, Лука! Тащи на берег! - кричал один из казаков.

Лукашка, не дожидаясь каюка, стал раздеваться, не спуская глаз с добычи.

- Погоди, каюк Назарка ведет,- кричал урядник.

- Дурак! Живой, может! Притворился! Кинжал возьми,- прокричал другой казак.

- Толкуй! - крикнул Лука, скидывая портки. Он живо разделся, перекрестился и, подпрыгнув, со всплеском вскочил в воду, обмакнулся, и, вразмашку кидая белыми руками и высоко поднимая спину из воды и отдувая поперек течения, стал перебивать Терек к отмели. Толпа казаков звонко, в несколько голосов, говорила на берегу. Трое конных поехали в объезд. Каюк показался из-за поворота. Лукашка поднялся на отмели, нагнулся над телом, ворохнул его раза два. "Как есть мертвый!" - прокричал оттуда резкий голос Луки.

Чеченец был убит в голову. На нем были синие портки, рубаха, черкеска, ружье и кинжал, привязанные на спину. Сверх всего был привязан большой сук, который и обманул сначала Лукашку.

- Вот так сазан попался! - сказал один из собравшихся кружком казаков, в то время как вытащенное из каюка чеченское тело, приминая траву, легло на берег.

- Да и желтый же какой! - сказал другой.

- Где искать поехали наши? - Они небось все на той стороне. Кабы не передовой был, так не так бы плыл. Одному зачем плыть? - сказал третий.

- То-то ловкой должно, вперед всех выискался. Самый, видно, джигит! - насмешливо сказал Лукашка, выжимая мокрое платье у берега и беспрестанно вздрагивая. - Борода крашена, подстрижена.

- И зипун в мешочке на спину приладил. Оно и плыть ему легче от нее, - сказал кто-то.

- Слышь, Лукашка! - сказал урядник, державший в руках кинжал и ружье, снятые с убитого. - Ты кинжал себе возьми и зипун возьми, а за ружье, приди, я тебе три монета дам. Вишь, оно и с свищом,- прибавил он, пуская дух в дуло,- так мне на память лестно.

Лукашка ничего не ответил, ему, видимо, досадно было это попрошайничество; но он знал, что этого не миновать.

- Вишь, черт какой! - сказал он, хмурясь и бросая наземь чеченский зипун,- хошь бы зипун хороший был, а то байгуш.

- Годится за дровами ходить,- сказал другой казак.

- Мосев! я домой схожу,- сказал Лукашка, видимо уж забыв свою досаду и желая употребить в пользу подарок начальнику.

- Иди, что ж!

- Оттащи его за кордон, ребята,- обратился урядник к казакам, все осматривая ружье. - Да шалашик от солнца над ним сделать надо. Може, из гор выкупать будут.

- Еще не жарко,- сказал кто-то.

- А чакалка изорвет? Это разве хорошо? - заметил один из казаков.

- Караул поставим, а то выкупать придут: нехорошо, коли порвет.

- Ну, Лукашка, как хочешь: ведро ребятам поставишь,- прибавил урядник весело.

- Уж как водится,-подхватили казаки.-Вишь, счастье бог дал: ничего не видамши, абрека убил.

- Покупай кинжал и зипун. Давай денег больше. И портки продам. Бог с тобой,- говорил Лука. - Мне не налезут: поджарый черт был.

Один казак купил зипун за монет. За кинжал дал другой два ведра.

- Пей, ребята, ведро ставлю,- сказал Лука,- сам из станицы привезу.

- А портки девкам на платки изрежь,- сказал Назарка.

Казаки загрохотали.

- Будет вам смеяться,- повторил урядник,- оттащи тело-то. Что пакость такую у избы положили...

- Что стали? Тащи его сюда, ребята! - повелительно крикнул Лукашка казакам, которые неохотно брались за тело, и казаки исполнили его приказание, точно он был начальник. Протащив тело несколько шагов, казаки опустили ноги, которые, безжизненно вздрогнув, опустились, и, расступившись, постояли молча несколько времени. Назарка подошел к телу и поправил подвернувшуюся голову так, чтобы видеть кровавую круглую рану над виском и лицо убитого.

- Вишь, заметку какую сделал! В самые мозги! - проговорил он,- не пропадет, хозяева узнают.

Никто ничего не ответил, и снова тихий ангел пролетел над казаками.

Солнце уже поднялось и раздробленными лучами освещало росистую зелень. Терек бурлил неподалеку; в проснувшемся лесу, встречая утро, со всех сторон перекликались фазаны. Казаки молча и неподвижно стояли вокруг убитого и смотрели на него. Коричневое тело в одних потемневших мокрых синих портках, стянутых пояском на впалом животе, было стройно и красиво. Мускулистые руки лежали прямо, вдоль ребер. Синеватая свежевыбритая круглая голова с запекшеюся раной сбоку была откинута. Гладкий загорелый лоб резко отделялся от бритого места. Стеклянно-открытые глаза с низко остановившимися зрачками смотрели вверх - казалось, мимо всего. На тонких губах, растянутых в краях и выставлявшихся из-за красных подстриженных усов, казалось, остановилась добродушная тонкая усмешка. На маленьких кистях рук, поросших рыжими волосами, пальцы были загнуты внутрь и ногти выкрашены красным. Лукашка все еще не одевался, он был мокр, шея его была краснее, и глаза его блестели больше обыкновенного; широкие скулы вздрагивали; от белого, здорового тела шел чуть заметный пар на утреннем свежем воздухе.

- Тоже человек был! - проговорил он, видимо любуясь мертвецом.

- Да, попался бы ему, спуска бы не дал,- отозвался один из казаков.

Тихий ангел отлетел. Казаки зашевелились, заговорили. Двое пошли рубить кусты для шалаша. Другие побрели к кордону. Лука с Назаркой побежали собираться в станицу.

Спустя полчаса через густой лес, отделявший Терек от станицы, Лукашка с Назаркой почти бегом шли домой, не переставая разговаривать.

- Ты ей не сказывай смотри, что я прислал; а поди посмотри, муж дома, что ли? - говорил Лука резким голосом.

- А я к Ямке зайду - погуляем, что ль? - спрашивал покорный Назар.

- Уж когда же гулять-то, что не нынче,- отвечал Лука.

Придя в станицу, казаки выпили и завалились спать до вечера.

**Х**

На третий день после описанного события две роты кавказского пехотного полка пришли стоять в Новомлинскую станицу. Отпряженный ротный обоз уже стоял на площади. Кашевары, вырыв яму и притащив с разных дворов плохо лежавшие чурки, уже варили кашу. Фельдфебеля рассчитывали людей. Фурштаты забивали колья для коновязи. Квартирьеры, как домашние люди, сновали по улицам и переулкам, указывая квартиры офицерам и солдатам. Тут были зеленые ящики, выстроенные во фрунт. Тут были артельные повозки и лошади. Тут были котлы, в которых варилась каша. Тут был и капитан, и поручик, и Онисим Михайлович, фельдфебель. И находилось все это в той самой станице, где, слышно было, приказано стоять ротам; следовательно, роты были дома. Зачем стоять тут? Кто такие эти казаки? Нравится ли им, что будут стоять у них? Раскольники они или нет? До этого нет дела. Распущенные от расчета, изнуренные и запыленные солдаты, шумно и беспорядочно, как усаживающийся рой, рассыпаются по площади и улицам; решительно не замечая нерасположения казаков, по двое, по трое, с веселым говором и позвякивая ружьями, входят в хаты, развешивают амуницию, разбирают мешочки и пошучивают с бабами. К любимому солдатскому месту, к каше, собирается большая группа, и с трубочками в зубах солдатики, поглядывая то на дым, незаметно подымающийся в жаркое небо и сгущающийся в вышине, как белое облако, то на огонь костра, как расплавленное стекло дрожащий в чистом воздухе, острят и потешаются над казаками и казачками за то, что они живут совсем не так, как русские. По всем дворам виднеются солдаты, и слышен их хохот, слышны ожесточенные и пронзительные крики казачек, защищающих свои дома, не дающих воды и посуды. Мальчишки и девчонки, прижимаясь к матерям и друг к другу, с испуганным удивлением следят за всеми движениями не виданных еще ими армейских и на почтительном расстоянии бегают за ними. Старые казаки выходят из хат, садятся на завалинках и мрачно и молчаливо смотрят на хлопотню солдат, как будто махнув рукой на все и не понимая, что из этого может выйти.

Оленину, который уже три месяца как был зачислен юнкером в кавказский полк, была отведена квартира в одном из лучших домов в станице, у хорунжего Ильи Васильевича, то есть у бабуки Улиты.

- Что это будет такое, Дмитрий Андреевич? - говорил запыхавшийся Ванюша Оленину, который верхом, в черкеске, на купленном в Грозной кабардинце весело после пятичасового перехода въезжал на двор отведенной квартиры.

- А что, Иван Васильич? - спросил он, подбадривая лошадь и весело глядя на вспотевшего, со спутанными волосами и расстроенным лицом Ванюшу, который приехал с обозом и разбирал вещи.

Оленин на вид казался совсем другим человеком. Вместо бритых скул у него были молодые усы и бородка. Вместо истасканного ночною жизнью желтоватого лица - на щеках, на лбу, за ушами был красный, здоровый загар. Вместо чистого, нового черного фрака была белая, грязная, с широкими складками черкеска и оружие. Вместо свежих крахмальных воротничков - красный ворот канаусового бешмета стягивал загорелую шею. Он был одет по-черкесски, но плохо; всякий узнал бы в нем русского, а не джигита. Все было так, да не так. Несмотря на то, вся наружность его дышала здоровьем, веселостью и самодовольством.

- Вам вот смешно,- сказал Ванюша,- а вы подите-ка сами поговорите с этим народом: не дают тебе хода, да и шабаш. Слова, так и того не добьешься. - Ванюша сердито бросил к порогу железное ведро.- Не русские какие-то.

- Да ты бы станичного начальника спросил.

- Да ведь я их местоположения не знаю,- обиженно отвечал Ванюша.

- Кто ж тебя так обижает? - спросил Оленин, оглядываясь кругом.

- Черт их знает! Тьфу! Хозяина настоящего нету, на какую-то кригу [Кpигой называется место у берега, огороженное плетнем для ловли рыбы. (Прим. Л. Н. Толстого.)], говорят, пошел. А старуха такая дьявол, что упаси господи! - отвечал Ванюша, хватаясь за голову. - Как тут .жить будем, я уж не знаю. Хуже татар, ей-богу. Даром, что тоже христиане считаются. На что татарин, и тот благородней. "На кригу пошел!" Какую кригу выдумали, неизвестно! - заключил Ванюша и отвернулся.

- Что, не так, как у нас на дворце? - сказал Оленин, подтрунивая и не слезая с лошади.

- Лошадь-то пожалуйте,- сказал Ванюша, видимо озадаченный новым для него порядком, но покоряясь своей судьбе.

- Так татарин благородней? А, Ванюша? - повторил Оленин, слезая с лошади и хлопая по седлу.

- Да, вот вы смейтесь тут! Вам смешно! - проговорил Ванюша сердитым голосом.

- Постой, не сердись, Иван Васильич,- отвечал Оленин, продолжая улыбаться. - Дай вот я пойду к хозяевам, посмотри - все улажу. Еще как заживем славно! Ты не волнуйся только.

Ванюша не отвечал, а только, прищурив глаза, презрительно посмотрел вслед барину и покачал головой. Ванюша смотрел на Оленина только как на барина. Оленин смотрел на Ванюшу только как на слугу. И они оба очень удивились бы, ежели бы кто-нибудь сказал им, что они друзья. А они были друзья, сами того по зная. Ванюша был взят в дом одиннадцатилетним мальчиком, когда и Оленину было столько же. Когда Оленину было пятнадцать лет, он одно время занимался обучением Ванюши и выучил его читать по-французски, чем Ванюша премного гордился. И теперь Ванюша, в минуты хорошего расположения духа, отпускал французские слова и при этом всегда глупо смеялся.

Оленин вбежал на крыльцо хаты и толкнул дверь в сени. Марьянка в одной розовой рубахе, как обыкновенно дома ходят казачки, испуганно отскочила от двери и, прижавшись к стене, закрыла нижнюю часть лица широким рукавом татарской рубахи. Отворив дальше дверь, Оленин увидел в полусвете всю высокую и стройную фигуру молодой казачки. С быстрым и жадным любопытством молодости он невольно заметил сильные и девственные формы, обозначавшиеся под тонкою ситцевою рубахой, и прекрасные черные глаза, с детским ужасом и диким любопытством устремленные на него. "Вот она!"-подумал Оленин. "Да еще много таких будет",- вслед за тем пришло ему в голову, и он отворил другую дверь в хату. Старая бабука Улитка, также в одной рубахе, согнувшись, задом к нему, выметала пол.

- Здравствуй, матушка! Вот я о квартире пришел... - начал он.

Казачка, не разгибаясь, обернула к нему строгое, но еще красивое лицо.

- Что пришел? Насмеяться хочешь? А? Я те насмеюсь! Черная на тебя немочь! - закричала она, искоса глядя на пришедшего из-под насупленных бровей.

Оленин сначала думал, что изнуренное храброе кавказское воинство, которого он был членом, будет принято везде, особенно казаками, товарищами по войне, с радостью, и потому такой прием озадачил его. Не смущаясь, однако, он хотел объяснить, что он намерен платить за квартиру, но старуха не дала договорить ему.

- Чего пришел? Каку надо болячку? Скобленое твое рыло! Вот дай срок, хозяин придет, он тебе покажет место. Не нужно мне твоих денег поганых. Легко ли, не видали! Табачищем дом загадит, да деньгами платить хочет. Эку болячку не видали! Расстрели тебе в животы сердце!..-пронзительно кричала она, перебивая Оленина.

"Видно, Ванюша прав! - подумал Оленин. - Татарин благороднее",- и, провожаемый бранью бабуки Улитки, вышел из хаты. В то время как он выходил, Марьяна, как была, в одной розовой рубахе, но уже до самых глаз повязанная белым платком, неожиданно шмыгнула мимо его из сеней. Быстро постукивая по сходцам босыми ногами, она сбежала с крыльца, приостановилась, порывисто оглянулась смеющимися глазами на молодого человека и скрылась за углом хаты.

Твердая, молодая походка, дикий взгляд блестящих глаз из-под белого платка и стройность сильного сложения красавицы еще сильнее поразили теперь Оленина. "Должно быть, она",- подумал он. И еще менее думая о квартире и все оглядываясь на Марьянку, он подошел к Ванюше.

- Вишь, и девка такая же дикая,- сказал Ванюша, еще возившийся у повозки, но несколько развеселившийся,- ровно кобылка табунная! Лафам [Женщина! (от франц. la femme).] - прибавил он громким и торжественным голосом и захохотал.

**XI**

Ввечеру хозяин вернулся с рыбной ловли и, узнав, что ему будут платить за квартиру, усмирил свою бабу и удовлетворил требованиям Ванюши.

На новой квартире все устроилось. Хозяева перешли в теплую, а юнкеру за три монета в месяц отдали холодную хату. Оленин поел и заснул. Проснувшись перед вечером, он умылся, обчистился, пообедал и, закурив папироску, сел у окна, выходившего на улицу. Жар свалил. Косая тень хаты с вырезным князьком стлалась через пыльную улицу, загибаясь даже на низу другого дома. Камышовая крутая крыша противоположного дома блестела в лучах спускающегося солнца. Воздух свежел. В станице было тихо. Солдаты разместились и попритихли. Стадо еще не пригоняли, и народ еще не возвращался с работ.

Квартира Оленина была почти на краю станицы. Изредка где-то далеко за Тереком, в тех местах, из которых пришел Оленин, раздавались глухие выстрелы,- в Чечне или на Кумыцкой плоскости. Оленину было очень хорошо после трехмесячной бивачной жизни. На умытом лице он чувствовал свежесть, на сильном теле - непривычную после похода чистоту, во всех отдохнувших членах - спокойствие и силу. В душе у него тоже было свежо и ясно. Он вспоминал поход, миновавшую опасность. Вспоминал, что в опасности он вел себя хорошо, что он не хуже других и принят в товарищество храбрых кавказцев. Московские воспоминания уж были бог знает где. Старая жизнь была стерта, и началась новая, совсем новая жизнь, в которой еще не было ошибок. Он мог здесь, как новый человек между новыми людьми, заслужить новое, хорошее о себе мнение. Он испытывал молодое чувство беспричинной радости жизни и, посматривая то в окно на мальчишек, гонявших кубари в тени около дома, то в свою новую прибранную квартирку, думал о том, как он приятно устроится в этой новой для .него станичной жизни. Посматривал он еще на горы и небо, и ко всем его воспоминаниям и мечтам примешивалось строгое чувство величавой природы. Жизнь его началась не так, как он ожидал, уезжая из Москвы, но неожиданно хорошо. Горы, горы, горы чуялись во всем, что он думал и чувствовал.

- Сучку поцеловал! кувшин облизал! Дядя Ерошка сучку поцеловал! - закричали вдруг казачата, гонявшие кубари под окном, обращаясь к проулку. - Сучку поцеловал! Кинжал пропил! - кричали мальчишки, теснясь и отступая.

Крики эти обращались к дяде Ерошке, который с ружьем за плечами и фазанами за поясом возвращался с охоты.

- Мой грех, ребята! мой грех! - приговаривал он, бойко размахивая руками и поглядывая в окна хат по обе стороны улицы. - Сучку пропил, мой грех! - повторил он, видимо сердясь, но притворяясь, что ему все равно.

Оленина удивило обращение мальчишек с старым охотником, а еще более поразило выразительное, умное лицо и сила сложения человека, которого называли дядей Ерошкой.

- Дедушка! казак! - обратился он к нему. - Подойди-ка сюда.

Старик взглянул в окно и остановился.

- Здравствуй, добрый человек,- сказал он, приподнимая над коротко обстриженною головой свою шапочку.

- Здравствуй, добрый человек,- отвечал Оленин. - Что это тебе мальчишки кричат? Дядя Ерошка подошел к окну.

- А дразнят меня, старика. Это ничего. Я люблю. Пускай радуются над дядей,- сказал он с теми твердыми и певучими интонациями, с которыми говорят старые и почтенные люди. - Ты начальник армейских, что ли?

- Нет, я юнкер. А где это фазанов убил? - спросил Оленин.

- В лесу три курочки замордовал,- отвечал старик, поворачивая к окну свою широкую спину, на которой заткнутые головками за поясом, пятная кровью черкеску, висели три фазанки. - Али ты не видывал? - спросил он. - Коли хочешь, возьми себе парочку. Ha! - И он подал в окно двух фазанов. - А что, ты охотник? - спросил он.

- Охотник. Я в походе сам убил четырех.

- Четырех? Много! - насмешливо сказал старик. - А пьяница ты? Чихирь пьешь?

- Отчего ж? и выпить люблю.

- Э, да ты, я вижу, молодец! Мы с тобой кунаки будем,- сказал дядя Ерошка.

- Заходи,- сказал Оленин. - Вот и чихирю выпьем.

- И то зайти,- сказал старик. - Фазанов-то возьми. По лицу старика видно было, что юнкер понравился ему, и он сейчас понял, что у юнкера можно даром выпить и потому можно подарить ему пару фазанов.

Через несколько минут в дверях хаты показалась фигура дяди Ерошки. Тут только Оленин заметил всю громадность и силу сложения этого человека, несмотря на то, что красно-коричневое лицо его с совершенно белою окладистою бородой было все изрыто старческими, могучими, трудовыми морщинами. Мышцы ног, рук и плеч были так полны и бочковаты, как бывают только у молодого человека. На голове его из-под коротких волос видны были глубокие зажившие шрамы. Жилистая толстая шея была, как у быка, покрыта клетчатыми складками. Корявые руки были сбиты и исцарапаны. Он легко и ловко перешагнул через порог, освободился от ружья, поставил его в угол, быстрым взглядом окинул и оценил сложенные в хате пожитки и вывернутыми ногами в поршнях, не топая, вышел на средину комнаты. С ним вместе проник в комнату сильный, но не неприятный смешанный запах чихирю, водки, пороху и запекшейся крови.

Дядя Ерошка поклонился образам, расправил бороду и, подойдя к Оленину, подал ему свою черную толстую руку.

- Кошкильды! - сказал он. - Это по-татарски значит; здравия желаем, мир вам, по-ихнему.

- Кошкильды! Я знаю,- отвечал Оленин, подавая ему руку.

- Э, не знаешь, не знаешь порядков! Дурак! - сказал дядя Ерошка, укоризненно качая головой. - Коли тебе кошкилъды говорят, ты скажи алла рази бо сун, спаси бог. Так-то, отец мой, а не кошкилъды. Я тебя всему научу. Так-то был у нас Илья Мосеич, ваш, русский, так мы с ним кунаки были. Молодец был. Пьяница, вор, охотник, уж какой охотник! Я его всему научил.

- Чему ж ты меня научишь? - спросил Оленин, все более и более заинтересовываясь стариком.

- На охоту тебя поведу, рыбу ловить научу, чеченцев покажу, душеньку хочешь, и ту доставлю. Вот я какой человек. Я шутник! - И старик засмеялся. - Я сяду, отец мой, я устал. Карга? - прибавил он вопросительно.

- А карга что значит? - спросил Оленин.

- А это значит: хорошо, по-грузински. А я так говорю; поговорка моя, слово любимое: карга; карга, так и говорю, значит шутю. Да что, отец мой, чихирю-то вели поднесть. Солдат, драбант есть у тебя? Есть? Иван! - закричал старик. - Ведь у вас что ни солдат, то Иван. Твой Иван, что ли?

- И то, Иван. Ванюша! Возьми, пожалуйста, у хозяев чихиря и принеси сюда!

- Все одно, что Ванюша, что Иван. Отчего у вас, у солдат, все Иваны? Иван! - повторил старик. - Ты спроси, батюшка, из начатой бочки. У них первый чихирь в станице. Да больше тридцати копеек за осьмуху смотри не давай, а то она, ведьма, рада... Наш народ анафемский, глупый народ,- продолжал дядя Ерошка доверчивым тоном, когда Ванюша вышел,- они вас не за людей считают. Ты для них хуже татарина. Мирские, мол, русские. А по-моему, хошь ты и солдат, а все человек, тоже душу в себе имеешь. Так ли я сужу? Илья Мосеич солдат был, а какой золото человек был! Так ли, отец мой? За то-то меня наши и не любят; а мне все равно. Я человек веселый, я всех люблю, я, Ерошка! Так-то, отец мой!

И старик ласково потрепал по плечу молодого человека.

**XII**

Ванюша, между тем успевший уладить свое хозяйство и даже обрившийся у ротного цирюльника и выпустивший панталоны из сапог в знак того, что рота стоит на просторных квартирах, находился в самом хорошем расположении духа. Он внимательно, но недоброжелательно смотрел на Ерошку, как на дикого невиданного зверя, покачал головой на запачканный им пол и, взяв из-под лавки две пустые бутылки, отправился к хозяевам.

- Здравствуйте, любезненькие,- сказал он, решившись быть особенно кротким. - Барин велел чихирю купить; налейте, добряшки.

Старуха ничего не ответила. Девка, стоя перед маленьким татарским зеркальцем, убирала платком голову; она молча оглянулась на Ванюшу.

- Я деньги заплачу, почтенные,- сказал Ванюша, потряхивая в кармане медными. - Вы будьте добрые, и мы добрые будем, так-то лучше,- прибавил он.

- Много ли? - отрывисто спросила старуха.

- Осьмушку.

- Поди, родная, нацеди им,- сказала бабука Улита, обращаясь к дочери. - Из начатой налей, желанная.

Девка взяла ключи и графин и вместе с Ванюшей вышла из хаты.

- Скажи, пожалуйста, кто это такая женщина? - спросил Оленин, указывая на Марьянку, которая в это время проходила мимо окна.

Старик подмигнул и толкнул локтем молодого человека.

- Постой,- проговорил он и высунулся в окно. - Кхм! Кхм! - закашлял и замычал он. - Марьянушка! А, нянюка Марьянка! Полюби меня, душенька! Я шутник,- прибавил он шепотом, обращаясь к Оленину.

Девка, не оборачивая головы, ровно и сильно размахивая руками, шла мимо окна тою особенною щеголеватою, молодецкою походкой, которою ходят казачки. Она только медленно повела на старика своими черными, отененными глазами.

- Полюби меня, будешь счастливая! - закричал Ерошка и, подмигивая, вопросительно взглянул на Оленина. - Я молодец, я шутник,- прибавил он, - Королева девка? А?

- Красавица,- сказал Оленин. - Позови ее сюда.

- Ни-ни! - проговорил старик. - Эту сватают за Лукашку. Лука - казак молодец, джигит, намеднись абрека убил. Я тебе лучше найду. Такую добуду, что вся в шелку да в серебре ходить будет. Уж сказал - сделаю; красавицу достану.

- Старик, а что говоришь! - сказал Оленин. - Ведь это грех!

- Грех? Где грех? - решительно отвечал старик. - На хорошую девку поглядеть грех? Погулять с ней грех? Али любить ее грех? Это у вас так? Нет, отец мой, это не грех, а спaсенье. Бог тебя сделал, бог и девку сделал. Все он, батюшка, сделал. Так на хорошую девку смотреть не грех. На то она сделана, чтоб ее любить да на нее радоваться. Так-то я сужу, добрый человек.

Пройдя через двор и войдя в темную, прохладную клеть, заставленную бочками, Марьяна с привычною молитвой подошла к бочке и опустила в нее ливер. Ванюша, стоя в дверях, улыбался, глядя на нее. Ему ужасно смешно казалось, что на ней одна рубаха, обтянута сзади и поддернута спереди, и еще смешнее то, что на шее висели полтинники. Он думал, что это не по-русски и что у них в дворне то-то смеху было бы, кабы такую девку увидали. "Ла филь ком се тре бье [Эта девушка очень хороша (искаж. франц.).], для разнообразия,- думал он,- скажу теперь барину".

- Что зазастил-то, черт! - вдруг крикнула девка. - Подал бы графин-то.

Нацедив полный графин холодным красным вином, Марьяна подала его Ванюше.

- Мамуке деньги отдай,- сказала она, отталкивая руку Ванюши с деньгами. Ванюша усмехнулся.

- Отчего вы такие сердитые, миленькие? - сказал он добродушно, переминаясь, в то время как девка закрывала бочку.

Она засмеялась.

- А вы разве добрые?

- Мы с господином очень добрые,-убедительно отвечал Ванюша. - Мы такие добрые, что, где ни жили, везде нам хозяева наши благодарны оставались. Потому благородный человек.

Девка приостановилась, слушая.

- А что, он женатый, твой пан-то? - спросила она.

- Нет! Наш барин молодой и не женатый. Потому господа благородные никогда молоды жениться не могут,- поучительно возразив Ванюша.

- Легко ли! Какой буйвол разъелся, а жениться молод! Он у вас у всех начальник? - спросила она.

- Господин мой юнкер, значит - еще не офицер. А звание-то имеет себе больше генерала - большого лица. Потому что не только наш полковник, а сам царь его знает,- гордо объяснил Ванюша.- Мы не такие, как другие армейские - голь, а наш папенька сам сенатор; тысячу, больше душ мужиков себе имел и нам по тысяче присылают. Потому нас всегда и любят. А то, пожалуй, и капитан, да денег нет. Что проку-то?..

- Иди, запру, - прервала девка.

Ванюша принес вино и объявил Оленину, что ла филь се тре жули [девушка очень красивая (искаж. франц.).],- и тотчас же с глупым хохотом ушел.

**XIII**

Между тем на площади пробили зорю. Народ возвратился с работ. В воротах замычало стадо, толпясь в пыльном золотистом облаке. И девки и бабы засуетились по улицам и дворам, убирая скотину. Солнце скрылось совсем за далеким снежным хребтом. Одна голубоватая тень разостлалась по земле и небу. Над потемневшими садами чуть заметно зажглись звезды, и звуки понемногу затихали в станице. Убрав скотину, казачки выходили на углы улиц и, пощелкивая семя, усаживались на завалинках. К одному из таких кружков, подоив двух коров и буйволицу, присоединилась и Марьянка.

Кружок состоял из нескольких баб и девок с одним старым казаком.

Речь шла об убитом абреке. Казак рассказывал, бабы расспрашивали.

- А награда, я чай, большая ему будет? - говорила казачка.

- А то как же? Бают, крест выйдет.

- Мосев и то хотел его обидеть. Ружье отнял, да начальство в Кизляре узнало. . - То-то подлая душа, Мосев-то!

- Сказывали, пришел Лукашка-то,- сказала одна девка.

- У Ямки (Ямка была холостая распутная казачка, державшая шинок) с Назаркой гуляют. Сказывают, полведра выпили.

- Эко Урвану счастье! - сказал кто-то. - Прямо, что Урван! Да что! малый хорош! Куда ловок! Справедливый малый. Такой же отец был, батяка Кирьяк; в отца весь. Как его убили, вся станица по нем выла... Вон они идут, никак,- продолжала говорившая, указывая на казаков, подвигавшихся к ним по улице. - Ергушов-то поспел с ними! Вишь, пьяница!

Лукашка с Назаркой и Ергушовым, выпив полведра, шли к девкам. Они все трое, в особенности старый казак, были краснее обыкновенного. Ергушов пошатывался и все, громко смеясь, толкал под бок Назарку.

- Что, скурехи, песен не играете? - крикнул он на девок. - Я говорю, играйте на наше гулянье.

- Здорово дневали? Здорово дневали? - послышались приветствия.

- Что играть? разве праздник? - сказала баба. - Ты надулся и играй.

Ергушов захохотал и толкнул Назарку:

- Играй ты, что ль! И я заиграю, я ловок, я говорю.

- Что, красавицы, заснули? - сказал Назарка. - Мы с кордона помолить [Помолить на казачьем языке значит за вином поздравить кого-нибудь или пожелать счастья вообще; употребляется в смысле выпить. (Прим. Л. Н. Толстого.)] пришли. Вот Лукашку помолили.

Лукашка, подойдя к кружку, медленно приподнял папаху и остановился против девок. Широкие скулы и шея были у него красны. Он стоял и говорил тихо, степенно; но в этой медленности и степенности движений было больше оживленности и силы, чем в болтовне и суетне Назарки. Он напоминал разыгравшегося жеребца, который, взвив хвост и фыркнув, остановился как вкопанный всеми ногами. Лукашка тихо стоял перед девками; глаза его смеялись; он говорил мало, поглядывая то на пьяных товарищей, то на девок. Когда Марьяна подошла к углу, он ровным, неторопливым движением приподнял шапку, посторонился и снова стал против нее, слегка отставив ногу, заложив большие пальцы за пояс и поигрывая кинжалом. Марьяна в ответ на его поклон медленно нагнула голову, уселась на завалинке и достала из-за пазухи семя. Лукашка, не спуская глаз, смотрел на Марьяну и, щелкая семя, поплевывал. Все затихли, когда подошла Марьяна.

- Что же? надолго пришли? - спросила казачка, прерывая молчанье.

- До утра,- степенно отвечал Лукашка.

- Да что ж, дай бог тебе интерес хороший,- сказал казак,- я рад, сейчас говорил.

- И я говорю,- подхватил пьяный Ергушов, смеясь. - Гостей-то что! - прибавил он, указывая на проходившего солдата. - Водка хороша солдатская, люблю!

- Трех дьяволов к нам пригнали,- сказала одна из казачек. - Уж дедука в станичное ходил; да ничего, бают, сделать нельзя.

- Ага! Аль горе узнала? - сказал Ергушов.

- Табачищем закурили небось? - спросила другая казачка. - Да кури на дворе сколько хошь, а в хату не пустим. Хошь станичный приходи, не пустю. Обокрадут еще. Вишь, он небось, чертов сын, к себе не поставил, станичный-то.

- Не любишь! - опять сказал Ергушов.

- А то бают еще, девкам постелю стлать велено для солдатов и чихирем с медом поить,- сказал Назарка, отставляя ногу, как Лукашка, и так же, как он, сбивая на затылок папаху.

Ергушов разразился хохотом и, ухватив, обнял девку, которая ближе сидела к нему.

- Верно, говорю.

- Ну, смола,- запищала девка,- бабе скажу!

- Говори! - закричал он. - И впрямь Назарка правду баит; цидула была, ведь он грамотный. Верно. - И он принялся обнимать другую девку по порядку.

- Что пристал, сволочь? - смеясь, запищала румяная круглолицая Устенька, замахиваясь на него. Казак посторонился и чуть не упал.

- Вишь, говорят, у девок силы нету: убила было совсем.

- Ну, смола, черт тебя принес с кордону! - проговорила Устенька и, отвернувшись от него, снова фыркнула со смеху. - Проспал было абрека-то? Вот он бы тебя срезал, и лучше б было.

- Завыла бы небось! - засмеялся Назарка.

- Так тебе и завою!

- Вишь, ей и горя нет. Завыла бы? Назарка, а? - говорил Ергушов.

Лукашка все время молча глядел на Марьянку. Взгляд его, видимо, смущал девку.

- А что, Марьянка, слышь, начальника у вас поставили? - сказал он, подвигаясь к ней.

Марьяна, как всегда, не сразу отвечала и медленно подняла глаза на казаков. Лукашка смеялся глазами, как будто что-то особенное, независимое от разговора, происходило в это время между им и девкой.

- Да, им хорошо, как две хаты есть,- вмешалась за Марьяну старуха,- а вот к Фомушкиным тоже ихнего начальника отвели, так, бают, весь угол добром загородил, а с своею семьей деваться некуда. Слыхано ли дело, целую орду в станицу пригнали! Что будешь делать! - сказала она. - И каку черную немочь они тут работать будут!

- Сказывают, мост на Тереку строить будут,- сказала одна девка.

- А мне сказывали,- промолвил Назарка, подходя к Устеньке,- яму рыть будут, девок сажать за то, что ребят молодых не любят. - И опять он сделал любимое коленце, вслед за которым все захохотали, а Ергушов тотчас же стал обнимать старую казачку, пропустив Марьянку, следовавшую по порядку.

- Что ж Марьянку не обнимаешь? Всех бы по порядку,- сказал Назарка.

- Не, моя старая слаще, - кричал казак, целуя отбивавшуюся старуху.

- Задушит! - кричала она, смеясь.

Мерный топот шагов на конце улицы прервал хохот. Три солдата в шинелях, с ружьями на плечо шли в ногу на смену к ротному ящику. Ефрейтор, старый кавалер, сердито глянув на казаков, провел солдат так, что Лукашка с Назаркой, стоявшие на самой дороге, должны были посторониться. Назарка отступил, но Лукашка, только прищурившись, оборотил голову и широкую спину и не тронулся с места.

- Люди стоят, обойди,- проговорил он, только искоса и презрительно кивнув на солдат.

Солдаты молча прошли мимо, мерно отбивая шаг по пыльной дороге.

Марьяна засмеялась, и за ней все девки.

- Эки нарядные ребята! - сказал Назарка. - Ровно уставщики длиннополые,- и он промаршировал по дороге, передразнивая их.

Все опять разразились хохотом.

Лукашка медленно подошел к Марьяне.

- А начальник у вас где стоит? - спросил он. Марьяна подумала.

- В новую хату пустили,- сказала она.

- Что он, старый или молодой? - спросил Лукашка, подсаживаясь к девке,

- А я разве спрашивала,- отвечала девка. - За чихирем ему ходила, видела, с дядей Ерошкой в окне сидит, рыжий какой-то. А добра целую арбу полну привезли.

И она опустила глаза.

- Уж как я рад, что пришлось с кордона выпроситься! - сказал Лукашка, ближе придвигаясь на завалинке к девке и все глядя ей в глаза.

- Что ж, надолго пришел? - спросила Марьяна, слегка улыбаясь.

- До утра. Дай семечек,- прибавил он, протягивая руку.

Марьяна совсем улыбнулась и открыла ворот рубахи.

- Все не бери,- сказала она.

- Право, все о тебе скучился, ей-богу,- сказал сдержанно-спокойным шепотом Лука, доставая семечки из-за пазухи девки, и, еще ближе пригнувшись к ней, стал шепотом говорить что-то, смеясь глазами.

- Не приду, сказано,- вдруг громко сказала Марьяна, отклоняясь от него.

- Право... Что я тебе сказать хотел,- прошептал Лукашка,- ей-богу! Приходи, Машенька.

Марьянка отрицательно покачала головой, но улыбалась.

- Нянюка Марьянка! А нянюка! Мамука ужинать зовет,- прокричал, подбегая и казачкам, маленький брат Марьяны.

- Сейчас приду,- отвечала девка,- ты иди, батюшка, иди один; сейчас приду.

Лукашка встал и приподнял папаху.

- Видно, и мне домой пойти, дело-то лучше будет,- сказал он, притворяясь небрежным, но едва сдерживая улыбку, и скрылся за углом дома.

Между тем ночь уже совсем опустилась над станицей. Яркие звезды высыпали на темном небе. По улицам было темно и пусто. Назарка остался с казачками на завалинке, и слышался их хохот. А Лукашка, отойдя тихим шагом от девок, как кошка пригнулся и вдруг неслышно побежал, придерживая мотавшийся кинжал, не домой, а по направлению к дому хорунжего. Пробежав две улицы и завернув в переулок, он подобрал черкеску и сел наземь в тени забора. "Ишь, хорунжиха,- думал он про Марьяну,- и не пошутит, черт! Дай срок".

Шаги приближавшейся женщины развлекли его. Он стал прислушиваться и засмеялся сам с собою. Марьяна, опустив голову, шла скорыми и ровными шагами прямо на него, постукивая хворостиной по кольям забора. Лукашка приподнялся. Марьяна вздрогнула и приостановилась.

- Вишь, черт проклятый! Напугал меня. Не пошел же домой,- сказала она и громко засмеялась.

Лукашка обнял одною рукой девку, а другою взял ее за лицо.

- Что я тебе сказать хотел... ей-богу!.. - Голос его дрожал и прерывался.

- Каки разговоры нашел по ночам,- отвечала Марьяна. - Мамука ждет, а ты к своей душеньке поди.

И, освободившись от его руки, она отбежала несколько шагов. Дойдя до плетня своего двора, она остановилась и оборотилась к казаку, который бежал с ней рядом, продолжая уговаривать ее подождать на часок.

- Ну, что сказать хотел, полуночник? - И она опять засмеялась.

- Ты не смейся надо мной, Марьяна! Ей-богу! Что ж, что у меня душенька есть? А черт ее возьми. Только слово скажи, уж так любить буду - что хоть, то и сделаю. Вон они! (И он погремел деньгами в кармане.) Теперь заживем. Люди радуются, а я что? Не вижу от тебя радости никакой, Марьянушка!

Девка ничего не отвечала, стояла перед ним и быстрыми движениями пальцев на мелкие куски ломала хворостинку.

Лукашка вдруг стиснул кулаки и зубы.

- Да и что все ждать да ждать! Я ли тебя не люблю, матушка! Что хочешь надо мной делай,- вдруг сказал он, злобно хмурясь, и схватил ее за обе руки.

Марьяна не изменила спокойного выражения лица и голоса.

- Ты не куражься, Лукашка, а слушай ты мои слова,- отвечала она, не вырывая рук, но отдаляя от себя казака. - Известно, я девка, а ты меня слушай. Воля не моя, а коли ты меня любишь, я тебе вот что скажу. Ты руки-то пусти, я сама скажу. Замуж пойду, а глупости от меня никакой не дождешься,- сказала Марьяна, не отворачивая лица.

- Что замуж пойдешь? Замуж - не наша власть. Ты сама полюби, Марьянушка,- говорил Лукашка. вдруг из мрачного и рьяного сделавшись опять кротким, покорным и нежным, улыбаясь и близко глядя в ее глаза.

Марьяна прижалась к нему и крепко поцеловала его в губы.

- Братец! - прошептала она, порывисто прижимая его к себе. Потом вдруг, вырвавшись, побежала и, не оборачиваясь, повернула в ворота своего дома.

Несмотря на просьбы казака подождать еще минутку, послушать, что он ей скажет, Марьяна не останавливалась.

- Иди! Увидят! - проговорила она. - Вон и то, кажись, постоялец наш, черт, по двору ходит.

"Хорунжиха,- думал себе Лукашка,- замуж пойдет! Замуж само собой, а ты полюби меня".

Он застал Назарку у Ямки и, с ним вместе погуляв, пошел к Дуняшке и, несмотря на ее неверность, ночевал у нее.

**XVI**

Дядя Ерошка был заштатный и одинокий казак; жена его лет двадцать тому назад, выкрестившись в православные, сбежала от него и вышла замуж за русского фельдфебеля; детей у него не было. Он не хвастал, рассказывая про себя, что был в старину первый молодец в станице. Его все знали по полку за его старинное молодечество. Не одно убийство и чеченцев и русских было у него на душе. Он и в горы ходил, и у русских воровал, и в остроге два раза сидел. Большая часть его жизни проходила на охоте в лесу, где он питался по суткам одним куском хлеба и ничего не пил, кроме воды. Зато в станице он гулял с утра до вечера. Вернувшись от Оленина, он заснул часа на два и, еще до света проснувшись, лежал на своей кровати и обсуживал человека, которого он вчера узнал. Простота Оленина очень понравилась ему (простота в том смысле, что ему не жалели вина). И сам Оленин понравился ему. Он удивлялся, почему русские все просты и богаты и отчего они ничего не знают, а все ученые. Он обдумывал сам с собою и эти вопросы, и то, чего бы выпросить себе у Оленина. Хата дяди Ерошки была довольно большая и не старая, но заметно было в ней отсутствие женщины. Вопреки обычной казаков заботливости о чистоте, горница вся была загажена и в величайшем беспорядке. На столе были брошены окровавленный зипун, половина сдобной лепешки и рядом с ней ощипанная и разорванная галка для прикармливания ястреба. На лавках, разбросанные, лежали поршни, ружье, кинжал, мешочек, мокрое платье и тряпки. В углу, в кадушке с грязною, вонючею водой, размокали другие поршни; тут же стояла винтовка и кобылка. На полу была брошена сеть, несколько убитых фазанов, а около стола гуляла, постукивая по грязному полу, привязанная за ногу курочка. В нетопленной печке стоял черепочек, наполненный какою-то молочною жидкостью. На печке визжал кобчик, старавшийся сорваться с веревки, и линялый ястреб смирно сидел на краю, искоса поглядывая на курочку и изредка справа налево перегибая голову. Сам дядя Ерошка лежал навзничь на коротенькой кровати, устроенной между стеной и печкой, в одной рубашке, и, задрав сильные ноги на печку, колупал толстым пальцем струпы на руках, исцарапанных ястребом, которого он вынашивал без перчатки. Во всей комнате, и особенно около самого старика, воздух был пропитан тем сильным, не неприятным, смешанным запахом, который сопутствовал старику.

- Уйде-ма, дядя? (то есть: дома, дядя?) - послышался ему из окна резкий голос, который он тотчас признал за голос соседа Лукашки.

- Уйде, уйде, уйде/ Дома, заходи! - закричал старик. - Сосед Марка, Лука Марка, что к дяде пришел? Аль на кордон?

Ястреб встрепенулся от крика хозяина и захлопал крыльями, порываясь на своей привязи.

Старик любил Лукашку и лишь одного его исключал из презрения ко всему молодому поколению казаков. Кроме того, Лукашка и его мать, как соседи, нередко давали старику вина, каймачку и т. п. из хозяйственных произведений, которых не было у Ерошки. Дядя Ерошка, всю жизнь свою увлекавшийся, всегда практически объяснял свои побуждения. "Что ж? Люди достаточные, - говорил он сам себе. - Я им свежинки дам, курочку, а и они дядю не забывают: пирожка и лепешки принесут другой раз..."

- Здорово, Марка! Я тебе рад, - весело прокричал старик и быстрым движением скинул босые ноги с кровати, вскочил, сделал шага два по скрипучему полу, посмотрел на свои вывернутые ноги, и вдруг ему смешно стало на свои ноги: он усмехнулся, топнул раз босою пяткой, еще раз и сделал выходку. - Ловко, что ль? - спросил он, блестя маленькими глазками. Лукашка чуть усмехнулся. - Что, аль на кордон? - сказал старик.

- Тебе чихирю принес, дядя, что на кордоне обещал.

- Спаси тебя Христос, - проговорил старик, поднял валявшиеся на полу чамбары и бешмет, надел их, затянулся ремнем, полил воды из черепка на руки, отер их о старые чамбары, кусочком гребешка расправил бороду и стал перед Лукашкой. - Готов! - сказал он.

Лукашка достал чапуру, отер, налил вина и, сев на скамейку, поднес дяде.

- Будь здоров! Отцу и сыну! - сказал старик, с торжественностию принимая вино. - Чтобы тебе получить, что желаешь, чтобы тебе молодцом быть, крест выслужить!

Лукашка тоже с молитвою отпил вина и поставил его на стол. Старик встал, принес сушеную рыбу, положил на порог, разбил ее палкой, чтоб она была мягче, и, положив ее своими заскорузлыми руками на свою единственную синюю тарелку, подал на стол.

- У меня все есть, и закуска есть, благодарю бога, - сказал он гордо. - Ну, что Мосев? - спросил старик.

Лукашка рассказал, как урядник отнял у него ружье, видимо желая знать мнение старика.

- За ружьем не стой, - сказал старик, - ружья не дашь - награды не будет.

- Да что, дядя! Какая награда, говорят, малолетку? [Малолетками называются казаки, не начавшие еще действительной конной службы. (Прим. Л. Н. Толстого.)] А ружье важное, крымское, восемьдесят монетов стоит.

- Э, брось! Так-то я заспорил с сотником: коня у меня просил. Дай, говорит, коня, в хорунжии представлю. Я не дал, так и не вышло.

- Да что, дядя! Вот коня купить надо, а, бают, за рекой меньше пятидесяти монетов не возьмешь. Матушка вина еще не продала.

- Эх! мы не тужили,-сказал старик,-когда дядя Ерошка в твои года был, он уж табуны у ногайцев воровал да за Терек перегонял. Бывало, важного коня за штоф водки али за бурку отдаешь.

- Что же дешево отдавали? - сказал Лукашка.

- Дурак, дурак, Марка!-презрительно сказал старик. - Нельзя, - на то воруешь, чтобы не скупым быть. А вы, я чай, и не видали, как коней-то гоняют. Что молчишь?

- Да что говорить, дядя? - сказал Лукашка. - Но такие мы, видно, люди.

- Дурак, дурак, Марка! Не такие люди! - отвечал старик, передразнивая молодого казака. - Не тот я был казак в твои годы.

- Да что же? - спросил Лукашка. Старик презрительно покачал головой.

- Дядя Ерошка прост был, ничего не жалел. Зато у меня вся Чечня кунаки были. Приедет ко мне какой кунак, водкой пьяного напою, ублажу, с собой спать положу, а к нему поеду, подарок, пешкеш, свезу. Так-то люди делают, а не то что как теперь: только и забавы у ребят, что семя грызут да шелуху плюют,- презрительно заключил старик, представляя в липах, как грызут семя и плюют шелуху нынешние казаки.

- Это я знаю, - сказал Лукашка. - Это так!

- Хочешь быть молодцом, так будь джигит, а не мужик. А то и мужик лошадь купит, денежки отвалит и лошадь возьмет.

Они помолчали.

- Да ведь и так скучно, дядя, в станице или на кордоне; а разгуляться поехать некуда. Все народ робкий. Вот хоть бы Назар. Намедни в ауле были; так Гирей-хан в Ногаи звал за конями, никто не поехал; а одному как же?

- А дядя что? Ты думаешь, я засох! Нет, я не засох. Давай коня, сейчас в Ногаи поеду.

- Что пустое говорить? - сказал Лука, - ты скажи, как с Гирей-ханом быть? Говорит, только проведи коня до Терека, а там хоть косяк целый давай, место найду. Ведь тоже гололобый, верить мудрено.

- Гирей-хану верить можно, его весь род - люди хорошие; его отец верный кунак был. Только слушай дядю, я тебя худу не научу: вели ему клятву взять, тогда верно будет; а поедешь с ним, все пистолет наготове держи. Пуще всего, как лошадей делить станешь. Раз меня так-то убил было один чеченец: я с него просил по десяти монетов за лошадь. Верить - верь, а без ружья спать не ложись.

Лукашка внимательно слушал старика.

- А что, дядя? Сказывали, у тебя разрыв-трава есть, - молвил он, помолчав.

- Разрыва нет, а тебя научу, так и быть: малый хорош, старика не забываешь. Научить, что ль?

- Научи, дядя.

- Черепаху знаешь? Ведь она черт, черепаха-то.

- Как не знать!

- Найди ты ее гнездо и оплети плетешок кругом, чтоб ей пройти нельзя. Вот она придет, покружит и сейчас назад; найдет разрыв-траву, принесет, плетень разорит. Вот ты и поспевай на другое утро и смотри: где разломано, тут и разрыв-трава лежит. Бери и неси куда хочешь. Не будет тебе ни замка, ни закладки.

- Да ты пытал, что ль, дядя?

- Пытать не пытал, а сказывали хорошие люди. У меня только и заговора было, что прочту "здравствуитя", как на коня садиться. Никто не убил.

- Какая такая "здравствуитя", дядя?

- А ты не знаешь? Эх, народ! То-то, дядю спроси. Ну слухай, говори за мной:

Здравствуитя живучи в Сиони.

Се царь твой.

Мы сядем на кони.

Софоние вопие,

Захарие глаголе.

Отче Мандрыче

Человеко-веко-любче.

Веко-веко-любче, - повторил старик. - Знаешь? Ну, скажи!

Лукашка засмеялся.

- Да что, дядя, разве от этого тебя не убили? Може, так.

- Умны стали вы. Ты все выучи да скажи. От того худа не будет. Ну, пропел "Мандрнче", да и прав,- и старик сам засмеялся. - А ты в Ногаи, Лука, не езди, вот что!

- А что?

- Не то время, не тот вы народ, дерьмо казаки вы стали. Да и русских вон что нагнали! Засудят. Право, брось. Куда вам! Вот мы с Гирчиком, бывало...

И старик начал было рассказывать свои бесконечные истории. Но Лукашка глянул в окно.

- Вовсе светло, дядя, - перебил он его. - Пора, заходи когда.

- Спаси Христос, а я к армейскому пойду: пообещал на охоту свести; человек хорош, кажись.

**XVII**

От Ерошки Лукашка зашел домой. Когда он вернулся, сырой росистый туман поднялся от земли и окутал станицу. Не видная скотина начинала шевелиться с разных концов. Чаще и напряженнее перекликались петухи. В воздухе становилось прозрачно, и народ начинал подниматься. Подойдя вплоть, Лукашка рассмотрел мокрый от тумана забор своего двора, крылечко хаты и отворенную клеть. На дворе слышался в тумане звук топора по дровам. Лукашка прошел в хату. Мать его встала и, стоя перед печью, бросала в нее дрова. На кровати еще спала сестра-девочка.

- Что, Лукаша, нагулялся? - сказала мать тихо. - Где был ночь-то?

- В станице был, - неохотно отвечал сын, доставая винтовку из чехла и осматривая ее.

Мать покачала головой.

Подсыпав пороху на полку, Лукашка достал мешочек, вынул несколько пустых хозырей и стал насыпать заряды, тщательно затыкая их пулькой, завернутою в тряпочке. Повыдергав зубом заткнутые козыри и осмотрев их, он положил мешок.

- А что, матушка, я тебе говорил торбы починить: починила, что ль? - сказал он.

- Как же! Немая чинила что-то вечор. Аль пора на кордон-то? Не видала я тебя вовсе.

- Вот только уберусь, и идти надо,- отвечал Лукашка, увязывая порох. - А немая где? Аль вышла?

- Должно, дрова рубит. Все о тебе сокрушалась. Уж не увижу, говорит, я его вовсе. Так-то рукой на лицо покажет, щелкнет да к сердцу и прижмет руки: жалко, мол. Пойти позвать, что ль? Об абреке-то все поняла.

- Позови, - сказал Лукашка. - Да сало там у меня было, принеси сюда. Шашку смазать надо.

Старуха вышла, и через несколько минут по скрипящим сходцам вошла в хату немая сестра Лукашки. Она была шестью годами старше брата и чрезвычайно была бы похожа на него, если бы не общее всем глухонемым тупое и грубо-переменчивое лицо. Одежду ее составляла грубая рубаха в заплатах; ноги были босы и испачканы; на голове старый синий платок. Шея, руки и лицо были жилисты, как у мужика. Видно было и по одежде и по всему, что она постоянно несла трудную мужскую работу. Она внесла вязанку дров к бросила ее у печи. Потом подошла к брату с радостною улыбкой, сморщившею все ее лицо, тронула его за плечо и начала руками, лицом и всем телом делать ему быстрые знаки.

- Хорошо, хорошо! Молодец, Степка! - отвечал брат, кивая головой. - Все припасла, починила, молодец! Вот тебе за то! - И, достав из кармана два пряника, он подал ей.

Лицо немой покраснело, и она дико загудела от радости. Схватив пряники, она еще быстрей стала делать знаки, часто указывая в одну сторону и проводя толстым пальцем по бровям и лицу. Лукашка понимал ее и все кивал, слегка улыбаясь. Она говорила, что брат девкам давал бы закуски, говорила, что девки его любят и что одна девка, Марьянка, лучше всех, и та любит его. Марьянку она обозначала, указывая быстро на сторону ее двора, на свои брови, лицо, чмокая и качая головой. "Любит" - показывала она, прижимая руку к груди, целуя свою руку и будто обнимая что-то. Мать вернулась в хату и, узнав, о чем говорила немая, улыбнулась и покачала головой. Немая показала ей пряники и снова прогудела от радости.

- Я Улите говорила намедни, что сватать пришлю, - сказала мать, - приняла мои слова хорошо. Лукашка молча посмотрел на мать.

- Да что, матушка? Вино надо везть. Коня нужно.

- Повезу, когда время будет; бочки справлю, - сказала мать, видимо не желая, чтобы сын вмешивался в хозяйственные дела. - Ты как пойдешь, - сказала старуха сыну, - так возьми в сенях мешочек. У людей заняла, тебе на кордон припасла. Али в саквы [Саквами называются переметные сумки, которые казаки возят за седлами. (Прим. Л. Н. Толстого.)] положить?

- Ладно, - отвечал Лукашка. - А коли из-за реки Гирей-хан приедет, ты его на кордон пришли, а то теперь долго не отпустят. До него дело есть.

Он стал собираться.

- Пришлю, Лукаша, пришлю. Что ж, у Ямки все и гуляли, стало? - сказала старуха.- То-то я ночью вставала к скотине, слушала, ровно твой голос песни играл.

Лукашка не отвечал, вышел в сени, перекинул через плечо сумки, подоткнул зипун, взял ружье и остановился на пороге.

- Прощай, матушка, - сказал он. Мать до ворот провожала его. - Ты бочонок с Назаркой пришли, - ребятам обещался; он зайдет, - сказал он матери, припирая за собой ворота.

- Спаси тебя Христос, Лукаша! Бог с тобой! Пришлю, из новой бочки пришлю, - отвечала старуха, подходя к забору. - Да слушай что, - прибавила она, перегнувшись через забор.

Казак остановился.

- Ты здесь погулял, ну, слава богу! Как молодому человеку не веселиться? Ну, и бог счастье дал. Это хорошо. А там-то уж смотри, сынок, не того... Пуще всего начальника ублажай, нельзя! А я и вина продам, денег припасу коня купить, и девку высватаю.

- Ладно, ладно! - отвечал сын, хмурясь.

Немая крикнула, чтоб обратить на себя его внимание. Показала голову и руку, что значило: бритая голова, чеченец. Потом, нахмурив брови, показала вид, что прицеливается из ружья, вскрикнула и запела скоро, качая головой. Она говорила, чтобы Лукашка еще убил чеченца.

Лукашка понял, усмехнулся и скорыми, легкими шагами, придерживая ружье за спиной под буркой, скрылся в густом тумане.

Молча постояв у ворот, старуха вернулась в избушку в тотчас же принялась за работу.

**XVIII**

Лукашка пошел на кордон, а дядя Ерошка в то же время свистнул собак и, перелезши через плетень, задами обошел до квартиры Оленина (идя на охоту, он не любил встречаться с бабами). Оленин еще спал, и даже Ванюша, проснувшись, но еще не вставая, поглядывал вокруг себя и соображал, пора или не пора, когда дядя Ерошка с ружьем за плечами и во всем охотничьем уборе отворил дверь.

- Палок! - закричал он своим густым голосом. - Тревога! Чеченцы пришли! Иван! Самовар барину ставь. А ты вставай! Живо! - кричал старик. - Так-то у нас, добрый человек. Вот уж и девки встали. В окно глянь-ка, глянь-ка, за водой идет, а ты спишь.

Оленин проснулся и вскочил. И так свежо, весело ему стало при виде старика и звуке его голоса.

- Живо! Живо, Ванюша! - закричал он.

- Так-то ты на охоту ходишь! Люди завтракать, а ты спишь. Лям! Куда? - крикнул он на собаку. - Ружье-то готово, что ль? - кричал старик, точно целая толпа народа была в избе.

- Ну, провинился, нечего делать. Порох, Ванюша! Пыжи! - говорил Оленин.

- Штраф! - кричал старик.

- Дю те вулеву? [Хотите чаю? (франц. du the, voulez-vous?)] - говорил Ванюша, ухмыляясь.

- Ты не наш! не по-нашему лопочешь, черт! - кричал на него старик, оскаливая корешки своих зубов.

- Для первого раза прощается, - шутил Оленин, натягивая большие сапоги.

- Прощается для первого раза, - отвечал Ерошка, - а другой раз проспишь, ведро чихиря штрафу. Как обогреется, не застанешь оленя-то.

- Да хоть и застанешь, так он умней нас, - сказал Оленин, повторяя слова старика, сказанные вечером, - его не обманешь.

- Да, ты смейся! Вот убей, тогда и поговори. Ну, живо! Смотри, вон и хозяин к тебе идет, - сказал Ерошка, глядевший p окно. - Вишь, убрался, новый зипун надел, чтобы ты видел, что он офицер есть. Эх! народ, народ!

Действительно, Ванюша объявил, что хозяин желает видеть барина.

- Ларжан [Деньги (франц. l'argent).],- сказал он глубокомысленно, предупреждая барина о значении визита хорунжего. Вслед за тем сам хорунжий, в новой черкеске с офицерскими погонами на плечах, в чищеных сапогах - редкость у казаков, - с улыбкой на лице, раскачиваясь, вошел в комнату и поздравил с приездом.

Хорунжий, Илья Васильевич, был казак образованный, побывавший в России, школьный учитель и, главное, благородный. Он хотел казаться благородным; но невольно под напущенным на себя уродливым лоском вертлявости, самоуверенности и безобразной речи чувствовался тот же дядя Ерошка. Это видно было и по его загорелому лицу, и по рукам, и по красноватому носу. Оленин попросил его садиться.

- Здравствуй, батюшка Илья Васильич! - сказал Ерошка, вставая и, как показалось Оленину, иронически низко кланяясь.

- Здорово, дядя! Уж ты тут? - отвечал хорунжий, небрежно кивая ему головой.

Хорунжий был человек лет сорока, с седою клинообразною бородкой, сухой, тонкий и красивый и еще очень свежий для своих сорока лет. Придя к Оленину, он, видимо, боялся, чтобы его не приняли за обыкновенного казака, и желал дать ему сразу почувствовать свое значение.

- Это наш Нимврод египетский, - сказал он, с самодовольною улыбкой обращаясь к Оленину и указывая на старика. - Ловец пред господином. Первый у нас на всякие руки. Изволили уж узнать?

Дядя Ерошка, глядя на свои ноги, обутые в мокрые поршни, раздумчиво покачивал головой, как бы удивляясь ловкости и учености хорунжего, и повторял про себя: "Нимрод гицкий! Чего не выдумает?"

- Да вот на охоту хотим идти, - сказал Оленин.

- Так-с точно, - заметил хорунжий. - А у меня дельце есть к вам.

- Что прикажете?

- Как вы есть благородный человек, - начал хорунжий, - и как я себя могу понимать, что мы тоже имеем звание офицера и потому постепенно можем всегда страктоваться, как и все благородные люди. (Он приостановился и с улыбкой взглянул на старика и Оленина.) Но ежели бы вы имели желание, по согласию моему, так как моя жена есть женщина глупая в нашем сословии, не могла в настоящее время вполне вразумить ваши слова вчерашнего числа. Потому квартира моя для полкового адъютанта могла ходить без конюшни за шесть монетов,- а задаром я всегда, как благородный человек, могу удалить от себя. А так как вам желается, то я, как сам офицерского звания, могу во всем согласиться лично с вами, и как житель здешнего края, не то как бабы по нашему обычаю, а во всем могу соблюсти условия...

- Чисто говорит, - пробормотал старик. Хорунжий говорил еще долго в том же роде. Изо всего этого Оленин не без некоторого труда мог понять желание хорунжего брать по шести рублей серебром за квартиру в месяц. Он с охотою согласился и предложил своему гостю стакан чаю. Хорунжий отказался.

- По нашему глупому обряду,- сказал он,- мы считаем как бы за грех употреблять из мирского стакана. Оно хотя, по образованию моему, я бы мог понимать, но жена моя по слабости человеческия...

- Что ж, прикажете чаю?

- Ежели позволите, я свой стакан принесу, особливый, - отвечал хорунжий и вышел на крыльцо. - Стакан подай! - крикнул он.

Через несколько минут дверь отворилась, и загорелая молодая рука в розовом рукаве высунулась с стаканом из двери. Хорунжий подошел, взял стакан и пошептал что-то с дочерью. Оленин налил чаю хорунжему в особливый, Ерошке в мирской стакан.

- Однако не желаю вас задерживать,- сказал хорунжий, обжигаясь и допивая свой стакан. - Я как есть тоже имею сильную охоту до рыбной ловли и здесь только на побывке, как бы на рекреации от должности. Тоже имею желание испытать счастие, не попадутся ли и на мою долю дары Терека. Надеюсь, вы и меня посетите когда-нибудь испить родительского, по нашему станичному обычаю, - прибавил он.

Хорунжий откланялся, пожал руку Оленину и вышел. Покуда собирался Оленин, он слышал повелительный и толковый голос хорунжего, отдававшего приказания домашним. А через несколько минут Оленин видел, как хорунжий в засученных до колен штанах и в оборванном бешмете, с сетью на плече прошел мимо его окна.

- Плут же, - сказал дядя Ерошка, допивавший свой чай из мирского стакана. - Что же, неужели ты ему так и будешь платить шесть монетов? Слыхано ли дело! Лучшую хату в станице за два монета отдадут. Эка бестия! Да я тебе свою за три монета отдам.

- Нет, уж я здесь останусь, - сказал Оленин.

- Шесть монетов! Видно, деньги-то дурашные. Э-эх1 - отвечал старик. - Чихирю дай, Иван!

Закусив и выпив водки на дорогу, Оленин с стариком вышли вместе на улицу часу в восьмом утра.

В воротах они наткнулись на запряженную арбу. Обвязанная до глаз белым платком, в бешмете сверх рубахи, в сапогах и с длинною хворостиной в руках, Марьяна тащила быков за привязанную к их рогам веревку.

- Мамушка! - проговорил старик, делая вид, что хочет схватить ее.

Марьянка замахнулась на него хворостиной и весело взглянула на обоих своими прекрасными глазами.

Оленину сделалось еще веселее.

- Ну, идем, идем! - сказал он, вскидывая ружье на плечо и чувствуя на себе взгляд девки.

- Ги! Ги! - прозвучал за ним голос Марьяны, и вслед за тем заскрипела тронувшаяся арба.

Покуда дорога шла задами станицы, по выгонам, Ерошка разговаривал. Он не мог забыть хорунжего и все бранил его.

- Да за что же ты так сердишься на него? - спросил Оленин.

- Скупой! Не люблю, - отвечал старик. - Издохнет, все останется. Для кого копит? Два дома построил. Сад другой у брата оттягал. Ведь тоже и по бумажным делам какая собака! Из других станиц приезжают к нему бумаги писать. Как напишет, так как раз и выйдет. В самый раз сделает. Да кому копить-то? Всего один мальчишка да девка; замуж отдаст, никого не будет.

- Так на приданое и копит, - сказал Оленин.

- Какое приданое? Девку берут, девка важная. Да ведь такой черт, что и отдать-то еще за богатого хочет. Калым большой содрать хочет. Лука есть казак, сосед мне и племянник, молодец малый, что чеченца убил, давно уж сватает; так все не отдает. То, другое да третье: девка молода, говорит. А я знаю, что думает. Хочет, чтобы покланялись. Нынче что сраму было за девку за эту. А всє Лукашке высватают. Потому первый казак в станице, джигит, абрека убил, крест дадут.

- А что это? Я вчера, как по двору ходил, видел, девка хозяйская с каким-то казаком целовалась, - сказал Оленин.

- Хвастаешь! - крикнул старик, останавливаясь.

- Ей-богу! - сказал Оленин.

- Баба черт, - раздумывая, сказал Ерошка. - А какой казак?

- Я не видал какой.

- Ну, курпей какой на шапке? белый?

- Да.

- А зипун красный? С тебя, такой же?

- Нет, побольше.

- Он и есть. - Ерошка захохотал. - Он и есть, Марка мой. Он, Лукашка. Я его Марка зову, шутю. Он самый. Люблю! Такой-то и я был, отец мой. Что на них смотреть-то? Бывало, с матерью, с невесткой спит душенька-то моя, а я все влезу. Бывало - жила она высоко; мать ведьма была, черт, страсть не любила меня, - приду, бывало, с няней (друг значит), Гирчиком звали. Приду под окно, ему на плеча взлезу, окно подниму, да и ошариваю. Она тут на лавке спала. Раз так-то взбудил ее. Она как взахается! Меня не узнала. Кто это? А мне говорить нельзя. Уж было мать заворошилась. Я шапку снял, да в мурло ей и сунул; так сразу узнала по рубцу, что на шапке был. Выскочила. Бывало, ничего-то не нужно. И каймаку тебе и винограду, всего натащит, - прибавил Ерошка, объяснявший все практически. - Да не одна была. Житье бывало.

- А теперь что ж?

- А вот пойдем за собакой, фазана на дерево посадим, тогда стреляй.

- Ты бы за Марьянкой поволочился?

- Ты смотри на собак-то. Вечером докажу, - сказал старик, указывая на своего любимца Ляма.

Они замолкли.

Пройдя шагов сто в разговорах, старик опять остановился и указал на хворостинку, которая лежала через дорогу.

- Ты это что думаешь? - сказал он. - Ты думаешь, это так? Нет. Это палка дурно лежит.

- Чем же дурно? Он усмехнулся.

- Ничего не знаешь. Ты слушай меня. Когда так палка лежит, ты через нее не шагай, а или обойди, или скинь так-то с дороги да молитву прочти: "Отцу и сыну и святому духу", - и иди с богом. Ничего не сделает. Так-то старики еще меня учили.

- Ну, что за вздор! - сказал Оленин. - Ты расскажи лучше про Марьяну. Что ж, она гуляет с Лукашкой?

- Шш! Теперь молчи, - опять шепотом перервал старик этот разговор,- только слушай. Кругом вот лесом пойдем.

И старик, неслышно ступая в своих поршнях, пошел вперед по узкой дорожке, входившей в густой, дикий, заросший лес. Он несколько раз, морщась, оглядывался на Оленина, который шуршал и стучал своими большими сапогами и, неосторожно неся ружье, несколько раз цеплял за ветки дерев, разросшихся по дороге.

- Не шуми, тише иди, солдат! - сердито шепотом говорил он ему.

Чувствовалось в воздухе, что солнце встало. Туман расходился, но еще закрывал вершины леса. Лес казался странно высоким. При каждом шаге вперед местность изменялась. Что казалось деревом, то оказывалось кустом; камышинка казалась деревом.

**XIX**

Туман частью поднимался, открывая мокрые камышовые крыши, частью превращался в росу, увлажая дорогу и траву около заборов. Дым везде валил из труб. Народ выходил из станицы - кто на работы, кто на реку, кто на кордоны. Охотники шли рядом по сырой, поросшей травою дороге. Собаки, махая хвостами и оглядываясь на хозяина, бежали по сторонам. Мириады комаров вились в воздухе и преследовали охотников, покрывая их спины, лица и руки. Пахло травой и лесною сыростью. Оленин беспрестанно оглядывался на арбу, в которой сидела Марьянка и хворостиной подгоняла быков.

Было тихо. Звуки станицы, слышные прежде, теперь уже не доходили до охотников; только собаки трещали по тернам, и изредка откликались птицы. Оленин знал, что в лесу опасно, что абреки всегда скрываются в этих местах. Он знал тоже, что в лесу для пешехода ружье есть сильная защита. Не то чтоб ему было страшно, но он чувствовал, что другому на его месте могло быть страшно, и, с особенным напряжением вглядываясь в туманный, сырой лес, вслушиваясь в редкие слабые звуки, перехватывал ружье и испытывал приятное и новое для него чувство. Дядя Ерошка, идя впереди, при каждой луже, на которой были двойчатые следы зверя, останавливался и, внимательно разглядывая, указывал их Оленину. Он почти не говорил, только изредка и шепотом делал свои замечания. Дорога, по которой они шли, была когда-то проезжена арбой и давно заросла травой. Карагачевый и чинаровый лес с обеих сторон был так густ и заросл, что ничего нельзя было видеть через него. Почти каждое дерево было обвито сверху донизу диким виноградником; внизу густо рос темный терновник. Каждая маленькая полянка вся заросла ежевичником и камышом с серыми колеблющимися махалками. Местами большие звериные и маленькие, как туннели, фазаньи тропы сходили с дороги в чащу леса. Сила растительности этого не пробитого скотом леса на каждом шагу поражала Оленина, который не видал еще ничего подобного. Этот лес, опасность, старик с своим таинственным шепотом, Марьянка с своим мужественным стройным станом и горы - все это казалось сном Оленину.

- Фазана посадил, - прошептал старик, оглядываясь и надвигая себе на лицо шапку. - Мурло-то закрой: фазан, - он сердито махнул на Оленина и полез дальше, почти на четвереньках, - мурла человечьего не любит.

Оленин еще был сзади, когда старик остановился и стал оглядывать дерево. Петух тордокнул с дерева на собаку, лаявшую на него, и Оленин увидал фазана. Но в то же время раздался выстрел, как из пушки, из здоровенного ружья Ерошки, и петух вспорхнул, теряя перья, и упал наземь. Подходя к старику, Оленин спугнул другого. Выпростав ружье, он повел и ударил. Фазан взвился колом кверху и потом, как камень, цепляясь за ветки, упал в чащу.

- Молодец! - смеясь, прокричал старик, не умевший стрелять влет.

Подобрав фазанов, они пошли дальше. Оленин, возбужденный движением и похвалой, все заговаривал с стариком.

- Стой! Сюда пойдем, - перебил его старик, - вчера тут олений след видал.

Свернув в чащу и пройдя шагов триста, они выбрались на полянку, поросшую камышом и местами залитую водой. Оленин все отставал от старого охотника, и дядя Ерошка, шагах в двадцати впереди его, нагнулся, значительно кивая и махая ему рукой. Добравшись до него, Оленин увидал след ноги человека, на который ему указывал старик.

- Видишь?

- Вижу. Что ж? - сказал Оленин, стараясь говорить как можно спокойнее. - Человека след.

Невольно в голове его мелькнула мысль о Куперовом Патфайндере и абреках, а глядя на таинственность, с которою шел старик, он не решался спросить и был в сомнении, опасность или охота причиняли эту таинственность.

- Не, это мой след, а во,-просто ответил старики указал траву, под которою был виден чуть заметный след зверя.

Старик пошел дальше. Оленин не отставал от него. Пройдя шагов двадцать и спускаясь книзу, они пришли в чащу, к разлапистой груше, под которою земля была черна и оставался свежий звериный помет.

Обвитое виноградником место было похоже на крытую уютную беседку, темную и прохладную.

- Утром тут был, - вздохнув, сказал старик, - видать, логово отпотело, свежо.

Вдруг страшный треск послышался в лесу, шагах в десяти от них. Оба вздрогнули и схватились за ружья, но ничего не видно было; только слышно было, как ломались сучья. Равномерный, быстрый топот галопа послышался на мгновенье, из треска перешел в гул, все дальше, дальше, шире и шире разносившийся по тихому лесу. Что-то как бы оборвалось в сердце Оленина. Он тщетно всматривался в зеленую чащу и наконец оглянулся на старика. Дядя Ерошка, прижав ружье к груди, стоял неподвижно; шапка его была сбита назад, глаза горели необыкновенным блеском, и открытый рот, из которого злобно выставлялись съеденные желтые зубы, замер в своем положении.

- Рогаль, - проговорил он. И, отчаянно бросив наземь ружье, стал дергать себя за седую бороду. - Тут стоял! С дорожки подойти бы! Дурак! Дурак! - И он злобно ухватил себя за бороду. - Дурак! Свинья! - твердил он, больно дергая себя за бороду. Над лесом в тумане как будто пролетало что-то; все дальше и дальше, шире и тире гудел бег поднятого оленя...

Уж сумерками Оленин вернулся с стариком, усталый, голодный и сильный. Обед был готов. Он поел, выпил с стариком, так что ему стало тепло и весело, и вышел на крылечко. Опять перед глазами подымались горы на закате. Опять старик рассказывал свои бесконечные истории про охоту, про абреков, про душенек, про беззаботное, удалое житье. Опять Марьяна-красавица входила, выходила и переходила через двор. Под рубахой обозначалось могучее девственное тело красавицы.

**XX**

На другой день Оленин без старика пошел один на то место, где он с стариком спугнул оленя. Чем обходить в ворота, он перелез, как и все делали в станице, через ограду колючек. И еще не успел отодрать колючек, зацепившихся ему за черкеску, как собака его, побежавшая вперед, подняла уже двух фазанов. Только что он вошел в терны, как стали, что ни шаг, подниматься фазаны. (Старик не показал ему вчера этого места, чтобы приберечь его для охоты с кобылкой.) Оленин убил пять штук фазанов из двенадцати выстрелов и, лазяя за ними по тернам, измучился так, что пот лил с него градом. Он отозвал собаку, спустил курки, положил пули на дробь и, отмахиваясь от комаров рукавами черкески, тихонько пошел ко вчерашнему месту. Однако нельзя было удержать собаку, на самой дороге набегавшую на следы, и он убил еще пару фазанов, так что, задержавшись за ними, он только к полдню стал узнавать вчерашнее место.

День был совершенно ясный, тихий, жаркий. Утренняя свежесть даже в лесу пересохла, и мириады комаров буквально облепляли лицо, спину и руки. Собака сделалась сивою из черной: спина ее вся была покрыта комарами. Черкеска, через которую они пропускали свои жалы, стала такою же. Оленин готов был бежать от комаров: ему уж казалось, что летом и жить нельзя в станице. Он уже шел домой; но, вспомнив, что живут же люди, решился вытерпеть и стал отдавать себя на съедение. И, странное дело, к полдню это ощущение стало ему даже приятно. Ему показалось даже, что ежели бы не было этой окружающей его со всех сторон комариной атмосферы, этого комариного теста, которое под рукой размазывалось по потному лицу, и этого беспокойного зуда по всему телу, то здешний лес потерял бы для него свой характер и свою прелесть. Эти мириады насекомых так шли к этой дикой, до безобразия богатой растительности, к этой бездне зверей и птиц, наполняющих лес, к этой темной зелени, к этому пахучему, жаркому воздуху, к этим канавкам мутной воды, везде просачивающейся из Терека и булькающей где-нибудь под нависшими листьями, что ему стало приятно именно то, что прежде казалось ужасным и нестерпимым. Обойдя то место, где вчера он нашел зверя, и ничего не встретив, он захотел отдохнуть. Солнце стояло прямо над лесом и беспрестанно, в отвес, доставало ему спину и голову, когда он выходил в поляну или дорогу. Семь тяжелых фазанов до боли оттягивали ему поясницу. Он отыскал вчерашние следы оленя, подобрался под куст в чащу, в то самое место, где вчера лежал олень, и улегся у его логова. Он осмотрел кругом себя темную зелень, осмотрел потное место, вчерашний помет, отпечаток коленей оленя, клочок чернозема, оторванный оленем, и свои вчерашние следы. Ему было прохладно, уютно; ни о чем он не думал, ничего не желал. И вдруг на него нашло такое странное чувство беспричинного счастия и любви ко всему, что он, по старой детской привычке, стал креститься и благодарить кого-то. Ему вдруг с особенною ясностью пришло в голову, что вот я, Дмитрий Оленин, такое особенное от всех существо, лежу теперь один, бог знает где, в том месте, где жил олень, старый олень, красивый, никогда, может быть, не видавший человека, и в таком месте, в котором никогда никто из людей не сидел и того не думал. "Сижу, а вокруг меня стоят молодые и старые деревья, и одно из них обвито плетями дикого винограда; около меня копошатся фазаны, выгоняя друг друга, и чуют, может быть, убитых братьев". Он пощупал своих фазанов, осмотрел их и отер теплоокровавленную руку о черкеску. "Чуют, может быть, чакалки и с недовольными лицами пробираются в другую сторону; около меня, пролетая между листьями, которые кажутся им огромными островами, стоят в воздухе и жужжат комары; один, два, три, четыре, сто, тысяча, миллион комаров, и все они что-нибудь и зачем-нибудь жужжат около меня, и каждый из них такой же особенный от всех Дмитрий Оленин, как и я сам". Ему ясно представилось, что думают и жужжат комары. "Сюда, сюда, ребята! Вот кого можно есть", - жужжат они и облепляют его. И ему ясно стало, что он нисколько не русский дворянин, член московского общества, друг и родня того-то и того-то, а просто такой же комар, или такой же фазан или олень, как те, которые живут теперь вокруг него. "Так же, как они, как дядя Ерошка, поживу, умру. И правду он говорит: только трава вырастет".

"Да что же, что трава вырастет? - думал он дальше. - Все надо жить, надо быть счастливым; потому что я только одного желаю - счастия. Все равно, что бы я ни был: такой же зверь, как и все, на котором трава вырастет, и больше ничего, или я рамка, в которой вставилась часть единого божества - все-таки надо жить наилучшим образом. Как же надо жить, чтобы быть счастливым, и отчего я не был счастлив прежде?" И он стал вспоминать свою прошедшую жизнь, и ему стало гадко на самого себя. Он сам представился себе таким требовательным эгоистом, тогда как, в сущности, ему для себя ничего не было нужно. И все он смотрел вокруг себя на просвечивающую зелень, на спускающееся солнце и ясное небо и чувствовал все себя таким же счастливым, как и прежде. "Отчего я счастлив и зачем я жил прежде? - подумал он. - Как я был требователен для себя, как придумывал и ничего не сделал себе, кроме стыда и горя! А вот как мне ничего не нужно для счастия!" И вдруг ему как будто открылся новый свет. "Счастие - вот что, - сказал он себе, - счастие в том, чтобы жить для других. И это ясно. В человека вложена потребность счастия; стало быть, она законна. Удовлетворяя ее эгоистически, то есть отыскивая для себя богатства, славы, удобств жизни, любви, может случиться, что обстоятельства так сложатся, что невозможно будет удовлетворить этим желаниям. Следовательно, эти желания незаконны, а не потребность счастия незаконна. Какие же желания всегда могут быть удовлетворены, несмотря на внешние условия? Какие? Любовь, самоотвержение!" Он так обрадовался и взволновался, открыв эту, как ему показалось, новую истину, что вскочил и в нетерпении стал искать, для кого бы ему поскорее пожертвовать собой, кому бы сделать добро, кого бы любить. "Ведь ничего для себя не нужно, - все думал он,-отчего же не жить для других?" Он взял ружье и с намерением скорее вернуться домой, чтобы обдумать все это и найти случай сделать добро, вышел из чащи. Выбравшись на поляну, он оглянулся: солнца уже не было видно, за вершинами дерев становилось прохладнее, и местность показалась ему совершенно незнакома и непохожа на ту, которая окружала станицу. Все вдруг переменилось - и погода, и характер леса: небо заволакивало тучами, ветер шумел в вершинах дерев, кругом виднелись только камыш и перестоялый поломанный лес. Он стал кликать собаку, которая отбежала от него за каким-то зверем, и голос его отозвался ему пустынно. И вдруг ому стало страшно жутко. Он стал трусить. Пришли в голову абреки, убийства, про которые ему рассказывали, и он ждал: вот-вот выскочит из каждого куста чеченец, и ему придется защищать жизнь и умирать или трусить. Он вспомнил и о боге, и о будущей жизни так, как не вспоминал этого давно. А кругом была та же мрачная, строгая, дикая природа. "И стоит ли того, чтобы жить для себя, - думал он, - когда вот-вот умрешь, и умрешь, не сделав ничего доброго, и так, что никто не узнает". Он пошел по тому направлению, где предполагал станицу. Об охоте он уже не думал, чувствовал убийственную усталость и особенно внимательно, почти с ужасом, оглядывал каждый куст и дерево, ожидая ежеминутно расчета с жизнию. Покружившись довольно долго, он выбрался на канаву, по которой текла песчаная, холодная вода из Терека, и, чтобы больше не плутать, решился пойти по ней. Он шел, сам не зная, куда выведет его канава. Вдруг сзади его затрещали камыши. Он вздрогнул и схватился за ружье. Ему стало стыдно себя; зарьявшая собака, тяжело дыша, бросилась в холодную воду канавы и стала лакать ее.

Он напился вместе с нею и пошел по тому направлению, куда она тянула, полагая, что она выведет его в станицу. Но, несмотря на товарищество собаки, вокруг ему все казалось еще мрачнее. Лес темнел, ветер сильнее и сильнее разыгрывался в вершинах старых поломанных деревьев. Какие-то большие птицы с визгом вились около гнезд этих деревьев. Растительность становилась беднее, чаще попадался шушукающий камыш и голые песчаные полянки, избитые звериными следами. К гулу ветра присоединялся еще какой-то невеселый, однообразный гул. Вообще на душе становилось пасмурно. Он ощупал сзади фазанов и одного не нашел. Фазан оторвался и пропал, и только окровавленная шейка и головка торчали за поясом. Ему стало так страшно, как никогда. Он стал молиться богу, и одного только боялся - что умрет, не сделав ничего доброго, хорошего; а ему так хотелось жить, жить, чтобы совершить подвиг самоотвержения.

**XXXV**

На другой день был праздник. Вечером весь народ, блестя на заходящем солнце праздничным нарядом, был на улице. Вина было нажато больше обыкновенного. Народ освободился от трудов. Казаки через месяц собирались в поход, и во многих семействах готовились свадьбы.

На площади, перед станичным правлением и около двух лавочек - одной с закусками и семечками, другой с платками и ситцами,- больше всего стояло народа. На завалинке дома правления сидели и стояли старики в серых и черных степенных зипунах, без галунов и украшений. Старики спокойно, мерными голосами беседовали между собой об урожаях и молодых ребятах, об общественных делах и о старине, величаво и равнодушно поглядывая на молодое поколение. Проходя мимо них, бабы и девки приостанавливались и опускали головы. Молодые казаки почтительно уменьшали шаг и, снимая папахи, держали их некоторое время перед головою. Старики замолкали. Кто строго, кто ласково, осматривали они проходящих и медленно снимали и снова надевали папахи.

Казачки еще не начинали водить хороводы, а, собравшись кружками, в яркоцветных бешметах и белых платках, обвязывающих голову и лицо, сидели на земле и завалинках хат, в тени от косых лучей солнца, и звонко болтали и смеялись. Мальчишки и девчонки играли в лапту, зажигая мяч высоко в ясное небо, и с криком и писком бегали по площади. Девочки-подростки на другом угле площади уже водили хороводы и тоненькими, несмелыми голосами пищали песню. Писаря, льготные и вернувшиеся на праздник молодые ребята, в нарядных белых и новых красных черкесках, обшитых галунами, с праздничными, веселыми лицами, по двое, по трое, взявшись рука с рукой, ходили от одного кружка баб и девок к другому и, останавливаясь, шутили и заигрывали с казачками. Армянин-лавочник в синей черкеске тонкого сукна с галунами стоял у отворенной двери, в которую виднелись ярусы свернутых цветных платков, и с гордостию восточного торговца и сознанием своей важности ожидал покупателей. Два краснобородые босые чеченца, пришедшие из-за Терека полюбоваться на праздник, сидели на корточках у дома своего знакомца и, небрежно покуривая из маленьких трубочек и поплевывая, перекидывались, глядя на народ, быстрыми гортанными звуками. Изредка непраздничный солдат в старой шинели торопливо проходил между пестрыми группами по площади. Кое-где уже слышались пьяные песни загулявших казаков. Все хаты были заперты, крылечки с вечера вымыты. Даже старухи были на улице. По сухим улицам везде в пыли под ногами валялась шелуха арбузных и тыквенных семечек. В воздухе было тепло и неподвижно, в ясном небе голубо и прозрачно, бело-матовый хребет гор, видневшийся из-за крыш, казался близок и розовел в лучах заходящего солнца. Изредка с заречной стороны доносился дальний гул пушечного выстрела. Но над станицей, сливаясь, носились разнообразные веселые, праздничные звуки.

Оленин все утро ходил по двору, ожидая увидеть Марьяну. Но она, убравшись, пошла к обедне в часовню; потом то сидела на завалине с девками, щелкая семя, то с товарками же забегала домой и весело, ласково взглядывала на постояльца. Оленин боялся заговаривать с ней шутливо и при других. Он хотел договорить ей вчерашнее и добиться от нее решительного ответа. Он ждал опять такой же минуты, как вчера вечером; но минута не приходила, а оставаться в таком нерешительном положении он не чувствовал в себе более силы. Она вышла опять на улицу, и немного погодя, сам не зная куда, пошел и он за нею. Он миновал угол, где она сидела, блестя своим атласным голубым бешметом, и с болью в сердце услыхал за собою девичий хохот.

Хата Белецкого была на площади. Оленин, проходя мимо ее, услыхал голос Белецкого: "Заходите",- и зашел.

Поговорив, они оба сели к окну. Скоро к ним присоединился Ерошка в новом бешмете и уселся подле них на пол.

- Вот это аристократическая кучка,- говорил Белецкий, указывая папироской на пеструю группу на углу и улыбаясь. - И моя там, видите, в красном. Это обновка. Что же хороводы не начинаются? - прокричал Белецкий, выглядывая из окна. - Вот погодите, как смеркнется, и мы пойдем. Потом позовем их к Устеньке. Надо им бал задать.

- И я приду к Устеньке,- сказал Оленин решительно. - Марьяна будет?

- Будет, приходите! - сказал Белецкий, нисколько не удивляясь. - А ведь очень красиво,- прибавил он, указывая на пестрые толпы.

- Да, очень! - поддакнул Оленин, стараясь казаться равнодушным. - На таких праздниках,- прибавил он,- меня всегда удивляет, отчего так, вследствие того, что нынче, например, пятнадцатое число, вдруг все люди стали довольны и веселы? На всем виден праздник. И глаза, и лица, и голоса, и движения, и одежда, и воздух, и солнце - все праздничное. А у нас уже нет праздников.

- Да,- сказал Белецкий, не любивший таких рассуждений. - А ты что не пьешь, старик? - обратился он к Ерошке.

Ерошка мигнул Оленину на Белецкого:

- Да что, он гордый, кунак-то твой! Белецкий поднял стакан.

- Алла бирды,- сказал он и выпил. (Алла бирды, значит: бог дал; это обыкновенное приветствие, употребляемое кавказцами, когда пьют вместе.)

- Сау бул (будь здоров),-сказал Ерошка, улыбаясь, и выпил свой стакан. - Ты говоришь: праздник! - сказал он Оленину, поднимаясь и глядя в окно. - Это что за праздник! Ты бы посмотрел, как в старину гуляли! Бабы выйдут, бывало, оденутся в сарафаны, галунами обшиты. Грудь всю золотыми в два ряда обвешают. На голове кокошники золотые носили. Как пройдет, так фр! фр! шум подымется. Каждая баба как княгиня была. Бывало, выйдут, табун целый, заиграют песни, так стон стоит; всю ночь гуляют. А казаки бочки выкатят на двор, засядут, всю ночь до рассвета пьют. А то схватятся рука с рукой, пойдут по станице лавой. Кого встретят, с собой забирают, да от одного к другому и ходят. Другой раз три дня гуляют. Батюшка, бывало, придет, еще я помню, красный, распухнет весь, без шапки, все растеряет, придет и ляжет. Матушка уж знает, бывало: свежей икры и чихирю ему принесет опохмелиться, а сама бежит по станице шапку его искать. Так двое суток спит! Вот какие люди были! А нынче что?

- Ну, а девки-то в сарафанах как же? Одни гуляли? - спросил Белецкий.

- Да, одни! Придут, бывало, казаки али верхом сядут, скажут: пойдем хороводы разбивать, и поедут, а девки дубье возьмут. На масленице, бывало, как разлетится какой молодец, а они бьют, лошадь бьют, его бьют. Прорвет стену, подхватит какую любит и увезет. Матушка, душенька, уж как хочет любит. Да и девки ж были! королевны! **XXXVI**

В это время из боковой улицы выехали на площадь два всадника. Один из них был Назарка, другой Лукашка. Лукашка сидел несколько боком на своем сытом гнедом кабардинце, легко ступавшем по жесткой дороге и подкидывавшем красивою головой с глянцевитою тонкою холкой. Ловко прилаженное ружье в чехле, пистолет за спиной и свернутая за седлом бурка доказывали, что Лукашка ехал не из мирного и ближнего места. В его боковой, щегольской посадке, в небрежном движении руки, похлопывавшей чуть слышно плетью под брюхо лошади, и особенно в его блестящих черных глазах, смотревших гордо, прищуриваясь, вокруг, выражались сознание силы и самонадеянность молодости. Видали молодца? - казалось, говорили его глаза, поглядывая по сторонам. Статная лошадь, с серебряным набором сбруя и оружие и сам красивый казак обратили на себя внимание всего народа, бывшего на площади. Назарка, худощавый и малорослый, был одет гораздо хуже Лукашки. Проезжая мимо стариков, Лукашка приостановился и приподнял белую курчавую папаху над стриженою черною головой.

- Что, много ль ногайских коней угнал? - сказал худенький старичок с нахмуренным, мрачным взглядом.

- А ты небось считал, дедука, что спрашиваешь,- отвечал Лукашка, отворачиваясь.

- То-то парня-то с собой напрасно водишь,- проговорил старик еще мрачнее.

- Вишь, черт, все знает! - проговорил про себя Лукашка, и лицо его приняло озабоченное выражение; но, взглянув за угол, где стояло много казачек, он повернул к ним лошадь.

- Здорово дневали, девки! - крикнул он сильным, заливистым голосом, вдруг останавливая лошадь. - Состарились без меня, ведьмы. - И он засмеялся.

- Здорово, Лукашка! Здорово, батяка! - послышались веселые голоса. - Денег много привез? Закусок купи девкам-то! Надолго приехал? И то давно не видели.

- С Назаркой на ночку погулять прилетели,- отвечал Лукашка, замахиваясь плетью на лошадь и наезжая да девок.

- И то Марьянка уж забыла тебя совсем,- пропищала Устенька, толкая локтем Марьяну и заливаясь тонким смехом.

Марьяна отодвинулась от лошади и, закинув назад голову, блестящими большими глазами спокойно взглянула на казака.

- И то давно не бывал! Что лошадью топчешь-то? - сказала она сухо и отвернулась.

Лукашка казался особенно весел. Лицо его сияло удалью и радостию. Холодный ответ Марьяны, видимо, поразил его. Он вдруг нахмурил брови.

- Становись в стремя, в горы увезу, мамочка! - вдруг крикнул он, как бы разгоняя дурные мысли и джигитуя между девок. Он нагнулся к Марьяне. - Поцелую, уж так поцелую, что ну!

Марьяна встретилась с ним глазами и вдруг покраснела. Она отступила.

- Ну тебя совсем! Ноги отдавишь,- сказала она и, опустив голову, посмотрела на свои стройные ноги, обтянутые голубыми чулками со стрелками, в красных новых чувяках, обшитых узеньким серебряным галуном.

Лукашка обратился к Устеньке, а Марьяна села рядом с казачкой, державшею на руках ребенка. Ребенок потянулся к девке и пухленькою ручонкой ухватился за нитку монистов, висевших на ее синем бешмете. Марьяна нагнулась к нему и искоса поглядела на Лукашку. Лукашка в это время доставал из-под черкески, из кармана черного бешмета, узелок с закусками и семечками.

- На всех жертвую,- сказал он, передавая узелок Устеньке, и с улыбкою глянул на Марьянку.

Снова замешательство выразилось на лице девки. Прекрасные глаза подернулись как туманом. Она спустила платок ниже губ и вдруг, припав головой к белому личику ребенка, державшего ее за монисто, начала жадно целовать его. Ребенок упирался ручонками в высокую грудь девки и кричал, открывая беззубый ротик.

- Что душишь парнишку-то? - сказала мать ребенка, , отнимая его у ней и расстегивая бешмет, чтобы дать ему груди. - Лучше бы с парнем здоровкалась.

- Только коня уберу, придем с Назаркой, целую ночь гулять будем,- сказал Лукашка, хлопнув плетью лошадь, и поехал прочь от девок.

Свернув в боковую улицу с Назаркой вместе, они подъехали к двум стоявшим рядом хатам.

- Дорвались, брат! Скорей приходи! - крикнул Лукашка товарищу, слезшему у соседнего двора, и осторожно проводя коней в плетеные ворота своего двора. - Здорово, Степка! - обратился он к немой, которая, тоже празднично разряженная, шла с улицы, чтобы принять коня. И он знаками показал ей, чтоб она поставила коня к сену и не расседлывала его.

Немая загудела, зачмокала, указывая на коня, и поцеловала его в нос. Это значило, что она любит коня и что конь хорош.

- Здорово, матушка! Что, аль на улицу еще не выходила? - прокричал Лукашка, поддерживая ружье и поднимаясь на крыльцо.

Старуха мать отворила ему дверь.

- Вот не ждала, не гадала,- сказала старуха,- а Кирка сказывал, ты не будешь.

- Принеси чихирьку поди, матушка. Ко мне Назарка придет, праздник помолим.

- Сейчас, Лукашка, сейчас,- отвечала старуха. - Бабы-то наши гуляют. Я чай, и наша немая ушла.

И, захватив ключи, она торопливо пошла в избушку.

Назарка, убрав своего коня и сняв ружье, вошел к Лукашке.

**XXXVII**

- Будь здоров,- говорил Лукашка, принимая от матери полную чашку чихиря и осторожно поднося ее к нагнутой голове.

- Вишь, дело-то,- сказал Назарка,- дедука Бурлак что сказал: "Много ли коней украл?" Видно, знает.

- Колдун! - коротко ответил Лукашка. - Да это что? - прибавил он, встряхнув головой. - Уж они за рекой. Ищи.

- Все неладно.

- А что неладно! Снеси чихирю ему завтра. Так-то делать надо, и ничего будет. Теперь гулять. Пей! - крикнул Лукашка тем самым голосом, каким старик Ерошка произносил это слово. - На улицу гулять пойдем, к девкам. Ты сходи меду возьми, или я немую пошлю. До утра гулять будем.

Назарка улыбался.

- Что ж, долго побудем? - сказал он.

- Дай погуляем! Беги за водкой! На деньги!

Назарка послушно побежал к Ямке.

Дядя Ерошка и Ергушов, как хищные птицы, пронюхав, где гулянье, оба пьяные, один за другим ввалились в хату.

- Давай еще полведра! - крикнул Лукашка матери в ответ на их здоровканье.

- Ну, сказывай, черт, где украл? - прокричал дядя Ерошка. - Молодец! Люблю!

- То-то люблю! - отвечал, смеясь, Лукашка. - Девкам закуски от юнкирей носишь. Эх, старый!

- Неправда, вот и неправда! Эх, Марка! (Старик расхохотался.) Уж как просил меня черт энтот! Поди, говорит, похлопочи. Флинту давал. Нет, бог с ним! Я бы обделал, да тебя жалею. Ну, сказывай, где был? - И старик заговорил по-татарски.

Лукашка бойко отвечал ему.

Ергушов, плохо знавший по-татарски, лишь изредка вставлял русские слова.

- Я говорю, коней угнал. Я твердо знаю,- поддакивал он.

- Поехали мы с Гирейкой,-рассказывал Лукашка. (Что он Гирей-хана называл Гирейкой, в том было заметное для казаков молодечество.) - За рекой все храбрился, что он всю степь знает, прямо приведет, а выехали, ночь темная, спутался мой Гирейка, стал елозить, а все толку нет. Не найдет аула, да и шабаш. Правей мы, видно, взяли. Почитай до полуночи искали. Уж, спасибо, собаки завыли.

- Дураки,- сказал дядя Ерошка. - Так-то мы, бывало, спутаемся ночью в степи. Черт их разберет! Выеду, , бывало, на бугор, завою по-бирючиному, вот так-то! (Он сложил руки у рта и завыл, будто стадо волков, в одну ноту.) Как раз собаки откликнутся. Ну, доказывай. Ну , что ж, нашли?

- Живо обротали. Назарку было поймали ногайки-бабы, пра!

- Да, поймали,- обиженно сказал вернувшийся Назарка.

- Выехали; опять Гирейка спутался, вовсе было завел в буруны. Так вот все кажет, что к Тереку, а вовсе прочь едем.

- А ты по звездам бы посмотрел,- сказал дядя Ерошка.

- И я говорю,- подхватил Ергушов.

- Да, смотри тут, как темно все. Уж я бился, бился! Поймал кобылу одну, обротал, а своего коня пустил; думаю, выведет. Так что же ты думаешь? Как фыркнет, фыркнет, да носом по земи... Выскакал вперед, так прямо в станицу и вывел. И то спасибо, уж светло вовсе стало; только успели в лесу коней схоронить, Нагим из-за реки приехал, взял.

Ергушов покачал головой.

- Я и говорю: ловко! А много ль?

- Все тут,- сказал Лукашка, хлопая по карману. Старуха в это время вошла в избу. Лукашка не договорил.

- Пей! - прокричал он.

- Так-то мы с Гирчиком раз поздно поехали... - начал Ерошка.

- Ну, тебя не переслушаешь! - сказал Лукашка. - А я пойду. - И, допив вино из чапурки и затянув туже ремень пояса, Лукашка вышел на улицу...

**XXXVIII**

Уж было темно, когда Лукашка вышел на улицу. Осенняя ночь была свежа и безветренна. Полный золотой месяц выплывал из-за черных раин, поднимавшихся на одной стороне площади. Из труб избушек шел дым и, сливаясь с туманом, стлался над станицею. В окнах кое-где светились огни. Запах кизяка, чапры и тумана был разлит в воздухе. Говор, смех, песни и щелканье семечек звучали так же смешанно, но отчетливее, чем днем. Белые платки и папахи кучками виднелись в темноте около заборов и домов.

На площади, против отворенной и освещенной двери лавки, чернеется и белеется толпа казаков и девок и слышатся громкие песни, смех и говор. Схватившись рука с рукой, девки кружатся, плавно выступая по пыльной площади. Худощавая и самая некрасивая из девок запевает:

Из-за лесику, лесу темного,

Ай-да-люли!

Из-за садику, саду зеленого

Вот и шли-прошли два молодца,

Два молодца, да оба холосты.

Они шли-прошли да становилися,

Они становилися, разбранилися.

Выходила к ним красна девица,

Выходила к ним, говорила им:

"Вот кому-нибудь из вас достануся".

Доставалася да парню белому,

Парню белому, белокурому.

Он бере, берет за праву руку.

Он веде, ведет да вдоль по кругу.

Всем товарищам порасхвастался:

"Какова, братцы, хозяюшка!"

Старухи стоят около, прислушиваясь к песням. Мальчишки и девчонки бегают кругом в темноте, догоняя друг друга. Казаки стоят кругом, затрогивая проходящих девок, изредка разрывая хоровод и входя в него. По темную сторону двери стоят Белецкий и Оленин в черкесках и папахах и не казачьим говором, не громко, но слышно, разговаривают между собой, чувствуя, что обращают на себя внимание. Рядом в хороводе ходят толстенькая Устенька в красном бешмете и величавая фигура Марьяны в новой рубахе и бешмете. Оленин с Белецким разговаривали о том, как бы им отбить от хоровода Марьянку с Устенькой. Белецкий думал, что Оленин хотел только повеселиться, а Оленин ждал решения своей участи. Он во что бы то ни стало хотел нынче же видеть Марьяну одну, сказать ей все и спросить ее, может ли и хочет ли она быть его женою. Несмотря на то, что вопрос этот давно был решен для него отрицательно, он надеялся, что будет в силах рассказать ей все, что чувствует, и что она поймет его.

- Что вы мне раньше не сказали,- говорил Белецкий,- я бы вам устроил через Устеньку. Вы такой странный!

- Что делать? Когда-нибудь, очень скоро, я вам все скажу. Теперь только, ради бога, устройте, чтоб она пришла к Устеньке.

- Хорошо. Это легко... Что же, ты парню белому достанешься, Марьянка, а? а не Лукашке? - сказал Белецкий, для приличия обращаясь сначала к Марьянке; и, не дождавшись ответа, он подошел к Устеньке и начал просить ее привести с собою Марьянку. Не успел он договорить, как запевало заиграла другую песню, и девки потянули друг дружку. Они пели:

Как за садом, за садом

Ходил, гулял молодец

Вдоль улицы в конец.

Он во первый раз иде,

Машет правою рукой,

Во другой он раз иде,

Машет шляпой пуховой,

А во третий раз иде,

Останавливатся,

Останавливатся, переправливатся.

"Я хотел к тебе пойти,

Тебе, милой, попенять:

Отчего же, моя милая,

Ты нейдешь во сад гулять?

Али ты, моя милая,

Мною чванишься?

Опосля, моя милая,

Успокоишься.

Зашлю сватать,

Буду сватать.

Беру замуж за себя,

Будешь плакать от меня".

Уж я знала, что сказать,

И не смела отвечать.

Я не смела отвечать.

Выходила в сад гулять.

Прихожу я в зелен сад,

Дружку кланялась.

А я, девица, поклон,

И платочек из рук вон.

"Изволь, милая, принять,

Во белые руки взять.

Во белы руки бери,

Меня, девица, люби.

Я не знаю, как мне быть,

Чем мне милую дарить,

Подарю своей милой

Большой шалевой платок.

Я за этот за платок

Поцелую раз пяток".

Лукашка с Назаркой, разорвав хоровод, пошли ходить между девками. Лукашка подтягивал резким подголоском и, размахивая руками, ходил посередине хоровода.

- Что же, выходи какая! - проговорил он.

Девки толкали Марьянку; она не хотела выйти. Из-за песни слышался тонкий смех, удары, поцелуи, шепот. Проходя мимо Оленина, Лукашка ласково кивнул ему головой.

- Митрий Андреич! И ты пришел посмотреть? - сказал он.

- Да,- решительно и сухо отвечал Оленин.

Белецкий наклонился на ухо Устеньке и сказал ей что-то. Она хотела ответить, но не успела и, проходя во второй раз, сказала:

- Хорошо, придем.

- И Марьяна тоже?

Оленин нагнулся к Марьяне.

- Придешь? Пожалуйста, хоть на минуту. Мне нужно поговорить с тобой.

- Девки пойдут, и я приду.

- Скажешь мне, что я просил? - спросил он опять, нагибаясь к ней. - Ты нынче весела.

Она уж уходила от него. Он пошел за ней.

- Скажешь?

- Чего сказать?

- Чего я третьего дня спрашивал,- сказал Оленин, нагибаясь к ее уху. - Пойдешь за меня?

Марьяна подумала.

- Скажу,- ответила она,- нынче скажу.

И в темноте глаза ее весело и ласково блеснули на молодого человека.

Он все шел за ней. Ему радостно было наклониться к ней поближе.

Но Лукашка, продолжая петь, дернул ее сильно за руку и вырвал из хоровода на середину. Оленин, успев только проговорить: "Приходи же к Устеньке",- отошел к своему товарищу. Песня кончилась. Лукашка обтер губы, Марьянка тоже, и они поцеловались. "Нет, раз пяток",- говорил Лукашка. Говор, смех, беготня заменили плавное движенье и плавные звуки. Лукашка, который казался уже сильно выпивши, стал оделять девок закусками.

- На всех жертвую,- говорил он с гордым комически-трогательным самодовольством. - А кто к солдатам гулять, выходи из хоровода вон,- прибавил он вдруг, злобно глянув на Оленина.

Девки хватали у него закуски и, смеясь, отбивали друг у друга. Белецкий и Оленин отошли к стороне.

Лукашка, как бы стыдясь своей щедрости, сняв папаху и отирая лоб рукавом, подошел к Марьянке и Устеньке.

- Али ты, моя милая, мною чванишься? - повторил он слова песни, которую только что пели, и, обращаясь к Марьянке,- мною чванишься? - еще повторил он сердито. - Пойдешь замуж, будешь плакать от меня,- прибавил он, обнимая вместе Устеньку и Марьяну.

Устенька вырвалась и, размахнувшись, ударила его по спине так, что руку себе ушибла.

- Что ж, станете еще водить? - спросил он.

- Как девки хотят,- отвечала Устенька,- а я домой пойду, и Марьянка хотела к нам прийти.

Казак, продолжая обнимать Марьяну, отвел ее от толпы к темному углу дома.|

- Не ходи, Машенька,-сказал он,-последний раз погуляем. Иди домой, я к тебе приду.

- Чего мне дома делать? На то праздник, чтоб гулять. К Устеньке пойду,- сказала Марьяна.

- Ведь все равно женюсь.

- Ладно,- сказала Марьяна,- там видно будет.

- Что ж, пойдешь? - строго сказал Лукашка и, прижав ее к себе, поцеловал в щеку.

- Ну, брось! Что пристал? - И Марьяна, вырвавшись, отошла от него.

- Эх, девка!.. Худо будет,-укоризненно сказал Лукашка, остановившись и качая головой. - Будешь плакать от меня,- и, отвернувшись от нее, крикнул на девок: - Играй, что ль!

Марьяну как будто испугало и рассердило то, что он сказал. Она остановилась.

- Что худо будет?

- А то.

- А что?

- А то, что с постояльцем-солдатом гуляешь, за то и меня разлюбила.

- Захотела, разлюбила. Ты мне не отец, не мать. Чего хочешь? Кого захочу, того и люблю.

- Так, так! - сказал Лукашка. - Помни ж! - Он подошел к лавке. - Девки! - крикнул он,- что стали? Еще хоровод играйте. Назарка! беги, чихиря неси.

- Что ж, придут они? - спрашивал Оленин у Белецкого.

- Сейчас придут,- отвечал Белецкий. - Пойдемте, надо приготовить бал.

**XXXIX**

Уж поздно ночью Оленин вышел из хаты Белецкого вслед за Марьяной и Устенькой. Белый платок девки белелся в темной улице. Месяц, золотясь, спускался к степи. Серебристый туман стоял над станицей. Все было тихо, огней нигде не было, только слышались шаги удалявшихся женщин. Сердце Оленина билось сильно. Разгоревшееся лицо освежалось на сыром воздухе. Он взглянул па небо, оглянулся на хату, из которой вышел: в ней потухла свеча, и он снова стал всматриваться в удалявшуюся тень женщин. Белый платок скрылся в тумане. Ему было страшно оставаться одному; он так был счастлив! Он соскочил с крыльца и побежал за девками.

- Ну тебя! Увидит кто! - сказала Устенька.

- Ничего!

Оленин подбежал к Марьяне и обнял ее. Марьянка не отбивалась.

- Не нацеловались,- сказала Устенька. - Женишься, тогда целуй, а теперь погоди.

- Прощай, Марьяна, завтра я приду к твоему отцу, сам скажу. Ты не говори.

- Что мне говорить! - отвечала Марьяна. Обе девки побежали. Оленин пошел один, вспоминая все, что было. Он целый вечер провел с ней вдвоем в углу, около печки. Устенька ни на минуту не выходила из хаты и возилась с другими девками и Белецким. Оленин шепотом говорил с Марьянкой.

- Пойдешь за меня? - спрашивал он ее.

- Обманешь, не возьмешь,- отвечала она весело и спокойно.

- А любишь ли ты меня? Скажи, ради бога!

- Отчего же тебя не любить, ты не кривой! - отвечала Марьяна, смеясь и сжимая в своих жестких руках его руки. - Какие у тебя руки бее-лые, бее-лые, мягкие, как каймак,- сказала она.

- Я не шучу. Ты скажи, пойдешь ли?

- Отчего же не пойти, коли батюшка отдаст?

- Помни ж, я с ума сойду, ежели ты меня обманешь. Завтра я скажу твоей матери и отцу, сватать приду. Марьяна вдруг расхохоталась.

- Что ты?

- Так, смешно.

- Верно! Я куплю сад, дом, запишусь в казаки...

- Смотри тогда других баб не люби! Я на это сердитая.

Оленин с наслаждением повторял в воображении все эти слова. При этих воспоминаниях то становилось ему больно, то дух захватывало от счастия. Больно ему было потому, что она все так же была спокойна, говоря с ним, как и всегда. Ее нисколько, казалось, не волновало это повое положение. Она как будто не верила ему и не думала о будущем. Ему казалось, что она его любила только в минуту настоящего и что будущего для нее не было с ним. Счастлив же он был потому, что все ее слова казались ему правдой и она соглашалась принадлежать ему. "Да,- говорил он сам себе,- только тогда мы поймем друг друга, когда она вся будет моею. Для такой любви нет слов, а нужна жизнь, целая жизнь. Завтра все объяснится. Я не могу так жить больше, завтра я все скажу ее отцу, Белецкому, всей станице..."

Лукашка после двух бессонных ночей так много выпил на празднике, что свалился в первый раз с ног и спал у Ямки.

**XL**

На другой день Оленин проснулся раньше обыкновенного, и в первое мгновение пробуждения ему пришла мысль о том, что предстоит ему, и он с радостию вспомнил ее поцелуи, пожатие жестких рук и ее слова: "Какие у тебя руки белые!" Он вскочил и хотел тотчас же идти к хозяевам и просить руки Марьяны. Солнце еще не вставало, и Оленину показалось, что на улице было необыкновенное волнение: ходили, верхом ездили и говорили. Он накинул на себя черкеску и выскочил на крыльцо. Хозяева еще не вставали. Пять человек казаков ехали верхом и о чем-то шумно разговаривали. Впереди всех на своем широком кабардинце ехал Лукашка. Казаки все говорили, кричали: ничего хорошенько разобрать было нельзя.

- К верхнему посту выезжай! - кричал один.

- Седлай и догоняй живее,- говорил другой.

- С тех ворот ближе выезжать.

- Толкуй тут,- кричал Лукашка,- в средние ворота ехать надо.

- И то, оттуда ближе,- говорил один из казаков, запыленный и на потной лошади.

Лицо у Лукашки было красное, опухшее от вчерашней попойки; папаха была сдвинута на затылок. Он кричал повелительно, будто был начальник.

- Что такое? Куда? - спросил Оленин, с трудом обращая на себя внимание казаков.

- Абреков ловить едем, засели в бурунах. Сейчас едем, да все народу мало.

И казаки, продолжая кричать и собираться, проехали дальше по улице. Оленину пришло в голову, что нехорошо будет, если он не поедет; притом он думал рано вернуться. Он оделся, зарядил пулями ружье, вскочил на кое-как оседланную Ванюшей лошадь и догнал казаков на выезде из станицы. Казаки, спешившись, стояли кружком и, наливая чихирю из привезенного бочонка в деревянную чапуру, подносили друг другу и молили свою поездку. Между ними был и молодой франт хорунжий, случайно находившийся в станице и принявший начальство над собравшимися девятью казаками. Собравшиеся казаки все были рядовые, и хотя хорунжий принимал начальнический вид, все слушались только Лукашку. На Оленина казаки не обращали никакого внимания. И когда все сели на лошадей и поехали и Оленин подъехал к хорунжему и стал расспрашивать, в чем дело, то хорунжий, обыкновенно ласковый, относился к нему с высоты своего величия. Насилу, насилу Оленин мог добиться от него, в чем дело. Объезд, посланный для розыска абреков, застал несколько горцев верст за восемь от станицы, в бурунах. Абреки засели в яме, стреляли и грозили, что не отдадутся живыми. Урядник, бывший в объезде с двумя казаками, остался там караулить их и прислал одного казака в станицу звать других на помощь.

Солнце только что начинало подниматься. Верстах в трех от станицы со всех сторон открылась степь, и ничего не было видно, кроме однообразной, печальной, сухой равнины, с испещренным следами скотины песком, с поблекшею кое-где травой, с низкими камышами в лощинах, с редкими, чуть проторенными дорожками и с ногайскими кочевьями, далеко-далеко видневшимися на горизонте. Во всем поражало отсутствие тени и суровый тон местности. Солнце всходит и заходит всегда красно в степи. Когда бывает ветер, то ветер переносит целые горы песку. Когда тихо, как было в это утро, то тишина, не нарушаемая ни движением, ни звуком, особенно поразительна. В это утро в степи было тихо, пасмурно, несмотря на то, что солнце поднялось; было как-то особенно пустынно и мягко. Воздух не шелохнулся; только и слышно было, как ступали лошади и пофыркивали; да и этот звук раздавался слабо и тотчас же замирал.

Казаки ехали большею частию молча. Оружие на казаке всегда прилажено так, чтоб оно не звенело и не бренчало. Бренчащее оружие - величайший срам для казака. Два казака из станицы догнали их по дороге и перекинулись двумя-тремя словами. Под Лукашкой не то споткнулась, не то зацепилась за траву и заторопилась лошадь. Это дурная примета у казаков. Казаки оглянулись и торопливо отвернулись, стараясь не обращать внимания на это обстоятельство, имевшее особенную важность в настоящую минуту. Лукашка вздернул поводья, строго нахмурился, стиснул зубы и взмахнул плетью над головой. Добрый кабардинец засеменил всеми ногами вдруг, не зная, на какую ступить, и как бы желая на крыльях подняться кверху; но Лукашка раз огрел его плетью по сытым бокам, огрел другой, третий - и кабардинец, оскалив зубы и распустив хвост, фыркая, заходил на задних ногах и на несколько шагов отделился от кучки казаков.

- Эх, добра лошадь! - сказал хорунжий.

Что он сказал добра лошадь, а не конь, это означало особенную похвалу коню.

- Лев конь,- подтвердил один из старших казаков.

Казаки молча ехали то шагом, то рысцой, и только одно это обстоятельство прервало на мгновение тишину и торжественность их движения.

По всей степи, верст на восемь дороги, они встретили живого только одну ногайскую кибитку, которая, будучи поставлена на арбу, медленно двигалась в версте от них. Это был ногаец, переезжавший с своим семейством с одного кочевья на другое. Еще встретили они в одной лощине двух оборванных скуластых ногайских женщин, которые с плетушками за спинами собирали в них для кизяка навоз от ходившей по степи скотины. Хорунжий, плохо говоривший по-кумыцки, стал что-то расспрашивать у ногаек; но они не понимали его и, видимо робея, переглядывались между собою.

Подъехал Лукашка, остановил лошадь, бойко произнес обычное приветствие, и ногайки, видимо, обрадовались и заговорили с ним свободно, как с своим братом.

- Ай, ай, коп абрек! - говорили они жалобно, указывая руками по тому направлению, куда ехали казаки. Оленин понял, что они говорили: "Много абреков".

Никогда не видавший подобных дел, имевший о них понятие только по рассказам дяди Ерошки, Оленин хотел не отставать от казаков и все видеть. Он любовался на казаков, приглядывался ко всему, прислушивался и делая свои наблюдения. Хотя он и взял с собой шашку и заряженное ружье, но, заметив, как казаки чуждались его, он решился не принимать никакого участия в деле, тем более что, по его мнению, храбрость его была уже доказана в отряде, а главное, потому, что теперь он был очень счастлив.

Вдруг вдалеке послышался выстрел.

Хорунжий взволновался и стал делать распоряжения, как казакам разделиться и с какой стороны подъезжать. Но казаки, видимо, не обращали никакого внимания на эти распоряжения, слушали только то, что говорил Лукашка, и смотрели только на него. В лице и фигуре Луки выражалось спокойствие и торжественность. Он вел проездом своего кабардинца, за которым не поспевали шагом другие лошади, и, щурясь, все вглядывался вперед.

- Вон конный едет,- сказал он, сдерживая лошадь и выравниваясь с другими.

Оленин смотрел во все глаза, но ничего не видел. Казаки скоро различили двух конных и спокойным шагом поехали прямо на них.

- Это абреки? - спросил Оленин.

Казаки ничего не отвечали на вопрос, который был бессмыслицей на их глаза. Абреки были бы дураки, если бы переправились на эту сторону с лошадьми.

- Вон машет батяка Родька, никак,- сказал Лукашка, указывая на двух конных, которые виднелись уже ясно. - Вон к нам поехал.

Действительно, через несколько минут ясно стало, что конные были объездные казаки, и урядник подъехал к Луке.

**XLI**

- Далече? - только спросил Лукашка.

В это самое время шагах в тридцати послышался короткий и сухой выстрел. Урядник слегка улыбнулся.

- Наш Гурка в них палит,- сказал он, указывая головой по направлению выстрела.

Проехав еще несколько шагов, они увидали Гурку, сидевшего за песчаным бугром и заряжавшего ружье. Гурка от скуки перестреливался с абреками, сидевшими за другим песчаным бугром. Пулька просвистела оттуда. Хорунжий был бледен и путался. Лукашка слез с лошади, кинул ее казаку и пошел к Гурке. Оленин, сделав то же самое и согнувшись, пошел за ним. Только что они подошли к стрелявшему казаку, как две пули просвистели над ними. Лукашка, смеясь, оглянулся на Оленина и пригнулся.

- Еще застрелят тебя, Андреич,- сказал он. - Ступай-ка лучше прочь. Тебе тут не дело.

Но Оленину хотелось непременно посмотреть абреков.

Из-за бугра увидал он шагах в двухстах шапки и ружья. Вдруг показался дымок оттуда, свистнула еще пулька. Абреки сидели под горой в болоте. Оленина поразило место, в котором они сидели. Место было такое же, как и вся степь, но тем, что абреки сидели в этом месте, оно как будто вдруг отделилось от всего остального и ознаменовалось чем-то. Оно ему показалось даже именно тем самым местом, в котором должны были сидеть абреки. Лукашка вернулся к лошади, и Оленин пошел за ним.

- Надо арбу взять с сеном,- сказал Лука,- а то перебьют. Вон за бугром стоит ногайская арба с сеном.

Хорунжий выслушал его, и урядник согласился. Воз сена был привезен, и казаки, укрываясь им, принялись выдвигать на себе сено. Оленин въехал на бугор, с которого ему было все видно. Воз сена двигался; казаки жались за ним. Казаки двигались; чеченцы,-их было девять человек,- сидели рядом, колено с коленом, и не стреляли.

Все было тихо. Вдруг со стороны чеченцев раздались странные звуки заунывной песни, похожей на ай-да-лалай дяди Ерошки. Чеченцы знали, что им не уйти, и, чтоб избавиться от искушения бежать, они связались ремнями, колено с коленом, приготовили ружья и запели предсмертную песню.

Казаки с возом сена подходили все ближе и ближе, и Оленин ежеминутно ждал выстрелов; но тишина нарушалась только заунывною песнью абреков. Вдруг песня прекратилась, раздался короткий выстрел, пулька шлепнулась о грядку телеги, послышались чеченские ругательства и взвизги. Выстрел раздавался за выстрелом, и пулька за пулькой шлепала по возу. Казаки не стреляли и были не дальше пяти шагов.

Прошло еще мгновенье, и казаки с гиком выскочили с обеих сторон воза. Лукашка был впереди. Оленин слышал лишь несколько выстрелов, крик и стон. Он видел дым и кровь, как ему показалось. Бросив лошадь и не помня себя, он подбежал к казакам. Ужас застлал ему глаза. Он ничего не разобрал, но понял только, что все кончилось. Лукашка, бледный как платок, держал за руки раненого чеченца и кричал: "Не бей его! Живого возьму!" Чеченец был тот самый, красный, брат убитого абрека, который приезжал за телом. Лукашка крутил ему руки. Вдруг чеченец вырвался и выстрелил из пистолета. Лукашка упал. На животе у него показалась кровь. Он вскочил, но опять упал, ругаясь по-русски и по-татарски. Крови на нем и под ним становилось больше и больше. Казаки подошли к нему и стали распоясывать. Один из них, Назарка, прежде чем взяться за него, долго не мог вложить шашку в ножны, попадая не тою стороной. Лезвие шашки было в крови.

Чеченцы, рыжие, с стрижеными усами, лежали убитые и изрубленные. Один только знакомый, весь израненный, тот самый, который выстрелил в Лукашку, был жив. Он, точно подстреленный ястреб, весь в крови (из-под правого глаза текла у него кровь), стиснув зубы, бледный и мрачный, раздраженными, огромными глазами озираясь во все стороны, сидел на корточках и держал кинжал, готовясь еще защищаться. Хорунжий подошел к нему и боком, как будто обходя его, быстрым движением выстрелил из пистолета в ухо. Чеченец рванулся, но не успел и упал.

Казаки, запыхавшись, растаскивали убитых и снимали с них оружие. Каждый из этих рыжих чеченцев был человек, у каждого было свое особенное выражение. Лукашку понесли к арбе. Он все бранился по-русски и по-татарски.

- Врешь, руками задушу! От моих рук не уйдешь! Ана сени! - кричал он, порываясь. Скоро он замолк от слабости.

Оленин уехал домой. Вечером ему сказали, что Лукашка при смерти, по что татарин из-за реки взялся лечить его травами.

Тела стаскали к станичному правлению. Бабы и мальчишки толпились смотреть на них.

Оленин вернулся сумерками и долго не мог опомниться от всего, что видел; но к ночи опять нахлынули на него вчерашние воспоминания; он выглянул в окно:

Марьяна ходила из дома в клеть, убираясь по хозяйству. Мать ушла на виноград. Отец был в правлении. Оленин не дождался, пока она совсем убралась, и пошел к ней. Она была в хате и стояла спиной к нему. Оленин думал, что она стыдится.

- Марьяна! - сказал он,- а Марьяна! Можно войти к тебе?

Вдруг она обернулась. На глазах ее были чуть заметные слезы. На лице была красивая печаль. Она посмотрела молча и величаво.

Оленин повторил:

- Марьяна! Я пришел...

- Оставь,- сказала она. Лицо ее не изменилось, но слезы полились у ней из глаз.

- О чем ты? Что ты?

- Что? - повторила она грубым и жестким голосом. - Казаков перебили, вот что.

- Лукашку? - сказал Оленин.

- Уйди, чего тебе надо!

- Марьяна! - сказал Оленин, подходя к ней.

- Никогда ничего тебе от меня не будет.

- Марьяна, не говори,- умолял Оленин.

- Уйди, постылый! - крикнула девка, топнула ногой и угрожающе подвинулась к нему. И такое отвращение, презрение и злоба выразились на лице ее, что Оленин вдруг понял, что ему нечего надеяться, что он прежде думал о неприступности этой женщины - была несомненная правда.

Оленин ничего не сказал ей и выбежал из хаты.

**XLII**

Вернувшись домой, он часа два неподвижно лежал на постели, потом отправился к ротному командиру и отпросился в штаб. Не простившись ни с кем и через Ванюшку расплатившись с хозяевами, он собрался ехать в крепость, где стоял полк. Один дядя Ерошка провожал его. Они выпили, еще выпили и еще выпили. Так же как во время его проводов из Москвы, ямская тройка стояла у подъезда. Но Оленин уже не считался, как тогда, сам с собою и не говорил себе, что все, что он думал и делал здесь, было не то. Он уже не обещал себе новой жизни. Он любил Марьянку больше, чем прежде, и знал теперь, что никогда не может быть любим ею.

- Ну, прощай, отец мой,- говорил дядя Ерошка. - Пойдешь в поход, будь умней, меня, старика, послушай. Когда придется в набеге или где (ведь я старый волк, всего видел), да коли стреляют, ты в кучу не ходи, где народу много. А то всє, как ваш брат оробеет, так к народу и жмется: думает, веселей в народе. А тут хуже всего: по народу-то и целят. Я все, бывало, от народа подальше, один и хожу: вот ни разу меня и не ранили. А чего не видал на своем веку?

- А в спине-то у тебя пуля сидит,- сказал Ванюша, убиравшийся в комнате.

- Это казаки баловались,- отвечал Ерошка.

- Как казаки? - спросил Оленин.

- Да так! Пили. Ванька Ситкин, казак был, разгулялся, да как бацнет, прямо мне в это место из пистолета и угодил.

- Что ж, больно было? - спросил Оленин. - Ванюша, скоро ли? - прибавил он.

- Эх! Куда спешишь! Дай расскажу... Да как треснул он меня, пуля кость-то не пробила, тут и осталась. Я и говорю; ты ведь меня убил, братец мой. А? Что ты со мной сделал? Я с тобой так не расстанусь. Ты мне ведро поставишь.

- Что ж, больно было? - опять спросил Оленин, почти не слушая рассказа.

- Дай докажу. Ведро поставил. Выпили. А кровь все льет. Всю избу прилил кровью-то. Дедука Бурлак и говорит: "Ведь малый-то издохнет. Давай еще штоф сладкой, а то мы тебя засудим". Притащили еще. Дули, дули...

- Да что ж, больно ли было тебе? - опять спросил Оленин.

- Какое больно! Не перебивай, не люблю. Дай докажу. Дули, дули, гуляли до утра, так и заснул на печи, пьяный. Утром проснулся, не разогнешься никак.

- Очень больно было? - повторил Оленин, полагая, что теперь он добился наконец ответа на свой вопрос.

- Разве я тебе говорю, что больно. Не больно, а разогнуться нельзя, ходить не давало.

- Ну и зажило? - сказал Оленин, даже не смеясь: так ему было тяжело на сердце.

- Зажило, да пулька все тут. Вот пощупай. - И он, заворотив рубаху, показал свою здоровенную спину, на которой около кости каталась пулька.

- Вишь ты, так и катается,- говорил он, видимо утешаясь этою пулькой, как игрушкой. - Вот к заду перекатилась.

- Что, будет ли жив Лукашка? - спросил Оленин.

- А бог его знает! Дохтура нет. Поехали.

- Откуда же привезут, из Грозной? - спросил Оленин.

- Не, отец мой, ваших-то русских я бы давно перевешал, кабы царь был. Только резать и умеют. Так-то нашего казака Баклашева не-человеком сделали, ногу отрезали. Стало, дураки. На что теперь Баклашев годится? Нет, отец мой, в горах дохтура есть настоящие. Так-то Гирчика, няню моего, в походе ранили в это место, в грудь, так дохтура ваши отказались, а из гор приехал Саиб, вылечил. Травы, отец мой, знают.

- Ну, полно вздор говорить,- сказал Оленин. - Я лучше из штаба лекаря пришлю.

- Вздор! - передразнил старик. - Дурак, дурак! Вздор! Лекаря пришлю! Да кабы ваши лечили, так казаки и чеченцы к вам бы лечиться ездили, а то ваши офицеры да полковники из гор дохтуров выписывают. У вас фальчь, одна все фальчь.

Оленин не стал отвечать. Он слишком был согласен, что все было фальчь в том мире, в котором он жил и в который возвращался.

- Что ж Лукашка? Ты был у него? - спросил он.

- Да лежит, как мертвый. Не ест, не пьет, только водку и принимает душа. Ну, водку пьет,- ничего. А то жаль малого. Хорош малый был, джигит, как я. Так-то я умирал раз: уж выли старухи, выли. Жар в голове стоял. Под святые меня сперли. Так-то лежу, а надо мной на печке всє такие, вот такие маленькие барабанщики всє, да так-то отжаривают зорю. Крикну на них, они еще пуще отдирают. (Старик засмеялся.) Привели ко мне бабы уставщика, хоронить меня хотели; бают: он мирщился, с бабами гулял, души губил, скоромился, в балалайку играл. Покайся, говорят. Я и стал каяться. Грешен, говорю. Что ни скажет поп, а я говорю все: грешен. Он про балалайку спрашивать и стал. И в том грешен, говорю. Где ж она, проклятая, говорит, у тебя? Ты покажь да ее разбей. А я говорю: у меня и нет ее. А сам ее в избушке в сеть запрятал; знаю, что не найдут. Так и бросили меня. Так отдох же. Как пошел в балалайку чесать... Так что бишь я говорил,- продолжал он,- ты меня слушай, от народа-то подальше ходи, а то так дурно убьют. Я тебя жалею, право. Ты пьяница, я тебя люблю. А то ваша братья всє на бугры ездить любят. Так-то у нас один жил, из России приехал, все на бугор ездил, как-то чудно холком бугор называл. Как завидит бугорок, так и поскачет. Поскакал так-то раз. Выскакал и рад. А чеченец его стрелил, да и убил. Эх, ловко с подсошек стреляют чеченцы! Ловчей меня есть. Не люблю, как так дурно убьют. Смотрю я, бывало, на солдат на ваших, дивлюся. То-то глупость! Идут, сердечные, все в куче да еще красные воротники нашьют. Тут как не попасть! Убьют одного, упадет, поволокут сердечного, другой пойдет. То-то глупость! - повторил старик, покачивая головой. - Что бы в стороны разойтись да по одному. Так честно и иди. Ведь он тебя не уцелит. Так-то ты делай.

- Ну, спасибо! Прощай, дядя! Бог даст, увидимся,- сказал Оленин, вставая и направляясь к сеням. Старик сидел на полу и не вставал.

- Так разве прощаются? Дурак! дурак! - заговорил он. - Эхма, какой народ стал! Компанию водили, водили год целый: прощай, да и ушел. Ведь я тебя люблю, я тебя как жалею! Такой ты горький, все один, все один. Нелюбимый ты какой-то! Другой раз не сплю, подумаю о тебе, так-то жалею. Как песня поется:

Мудрено, родимый братец,

На чужой сторонке жить!

Так-то и ты.

- Ну, прощай,- сказал опять Оленин.

Старик встал и подал ему руку; он пожал ее и хотел идти.

- Мурло-то, мурло-то давай сюда.

Старик взял его обеими толстыми руками за голову, поцеловал три раза мокрыми усами и губами и заплакал.

- Я тебя люблю, прощай!

Оленин сел в телегу.

- Что ж, так и уезжаешь? Хоть подари что на память, отец мой. Флинту-то подари. Купы тебе две,- говорил старик, всхлипывая от искренних слез.

Оленин достал ружье и отдал ему.

- Что передавали этому старику! - ворчал Ванюша. - Все мало! Попрошайка старый. Все необстоятельный народ,- проговорил он, увертываясь в пальто и усаживаясь на передке.

- Молчи, швинья! - крикнул старик, смеясь. - Вишь, скупой!

Марьяна вышла из клети, равнодушно взглянула на тройку и, поклонившись, прошла в хату.

- Ла филь! [Девушка! (франц. la fille)] - сказал Ванюша, подмигнув и глупо захохотав.

- Пошел! - сердито крикнул Оленин.

- Прощай, отец! Прощай! Буду помнить тебя! - кричал Ерошка.

Оленин оглянулся. Дядя Ерошка разговаривал с Марьянкой, видимо, о своих делах, и ни старик, ни девка не смотрели на него.